



смена

№ 1 ЯНВАРЬ 1978



Рабочая
повесть
«СМЕНЫ»:
ткачиха
**ВАЛЕНТИНА
ГОЛУБЕВА**

ЗНАКО

НОВАЯ РУБРИКА

Рабочая повесть
«Смены»

В преддверии XVIII съезда ВЛКСМ наш журнал обращается к трудовому и нравственному опыту молодежи, вводя новую рубрику «Рабочая повесть «Смены». Мы будем стремиться публиковать материалы, которые раскрывали бы образы тех молодых рабочих-современников, чьи помыслы и поступки могут служить примером коммунистического отношения к труду, гражданского отношения к жизни. Это будут документальные повести о комсомольском характере, о масштабе дел и свершений молодых людей 70-х годов. Новая рубрика «Смены» начинается повестью о ткачихе Ивановского камвольного комбината. Герое Социалистического Труда, лауреате премии Ленинского комсомола Валентине Голубевой.

Элла ЧЕРЕПАХОВА

Она не из вундеркиндлов была, чего там... Не из этих, знаете, детишек, про которых школьные учителя с просветленным лицом, восторженным шепотом (чтобы сердечников не задеть): «Подают, мол, надежды—ах!»

Когда доходило до характеристик, классрук задумчиво и ласково говорила: «Валюша... что ж... девочка, в общем, благополучная... Женственная. Без проблем». И на этом все кончалось.

Конечно, разве это проблема, если дома мать хворая, дочек у нее четверо, как матрешек игрушечных—одна другой поменьше, и «пашет» один отец. Навернет рано утром на шею старенький шарф—и пошел... Вам, может, другой поселок Мирный известен, который в дальней Якутии, алмазный—его-то все знают. А есть другой Мирный—в Брянской области. У болот стоит, торфом живет и держится. Родной Валин поселок.

— Ну, куда столько торфа набрала—не донесешь!—быжало, прикрикнет мать, заметив, как маленькая Валентина тащит тяжелое ведро с топливом—гнется под тяжестью.

— Ну да, не донесешь!—выдохнет.

И донесет ведь...

Засмеется замешкавшаяся в гостях соседка:

— А не зря, Валька, прическу крутишь? И не заметит ведь никто малышину этакую на танцулях.

— Ну да, не заметит!

И замечали. Нарядом, верно, не блистала—взять негде. Ну, а зато волосы—каштан в рыжину, тяжелые, ну, а глаза зеленые, потаенные, смех рассыпчатый, зубы белые, веселые—как не заметить! Только танцы редко выпадали. Школьные годы текли незаметно, торопко, как песочек в стеклянных часах, глянь—поглянь—кончилось «детское время». Чем дальше жить? К чему прислониться? Вот тоска, вот забота!

— Тебе женское дело пристало, Валечка,—обдумывали ее судьбу учителя.—Что-нибудь такое: шить, вязать—кружевца, оборочки... Или вот: в детский садик служить—плохо ли?

— Какой еще садик с оборочками... На фабрику пойду, к станкам... каким-либо!—Она еще сама не знала, к каким.—Чего мне кружевца? Современное что-нибудь надо.

Дома покричали, поплакали, ну, как иначе: столько женщин в доме! А последнее—осталось в глазах—доброе, грустное батино лицо, коричневое, шарфик худой на жилистой шее.

— Ну, Валюха, смотри не забалуй там, в Иванове-то... Может, все-таки зря наладилась?

— Да что я, батя, одна? Вон сколько девчонок едет, и ничего. Общежитием жить будем.

— Затоскуешь лютно, дочка, по дому-то...

— Ну да, затоскую!—ломучим голосом.

Скорей бы поезд тронулся, одни переживания! Медленно отплывает Мирный назад, знакомые улицы, и дома, и станция, и отец. Медленно, да верно... Насовсем? Назад, назад уплывает, в прошлое, во вчера... И болит, ноет, звенят слезы в сердце тоянская струнка, словно вина какая ложится на душу, и рвет ее, и мучит. «Милые мои, родные, простите меня, не знаю, за что».

— А ты, Валька, чего в осадок выпала? Говори перед народом: в ткачих соглашная?—схватила за руки прибредшую наконец в купе Валлю щекастая «скоморошка».

— А? Ага... Можно и в ткачих.

И руки к ней отовсюду тянутся—с пирожком, с луковицей, с яблоком:

— Не горюй!

Приехали... На вокзале в Иванове суeta, носильщики бегают с тележками:

— Вам помочь?

Так и начался для Вали город Иваново, так и запомнился—с этих слов.

...Общежитие ГПТУ на втором этаже. Спустившись на первый—и в классах. Удобно. Жили по четверо, шестеро в комнатухе. Девчата понеходу—из Брянска, Воронежа, Горького... Смеху, шуму! Всем по 16—17, да росту разного—кто как вымахать успел. В Валиной комнате пальто модное у одной, самой рослой—Верки. В нем по очереди в магазин за продтоварами. Кормили, конечно, в столовке, а есть все равно всегда хотелось... Готовили в череде, если сообща. Соберутся к вечеру все и новости выкладывают, кудри выют, гладят, поют. Девичья коммуна. Началось учение. Опять смех: физкультурой велят заниматься, как школьницам,—ручку сюда, ножку туда, присядь, да встань, да в поис поклонись. «Будем мы кланяться,—шептались по-

Фото Александра КОЧЕТОВА

МОЕ ЛИЦО



селковые.—Нас делу давай учи, а это что ж—насмешка?» Однако пришлось. И бегать, и прыгать, и на брусьях стараться—программа же, зачет.

— Ой, не добежим, Валька, давай сойдем—сердце лопнет,—шепчет, бывало, подружка на дистанции и за майку хватает.

— Ну да, не добежим!—оборвет.—Воронежские же вон добежали...

Рекордов не ставила, но и с круга не сходила никогда.

На теории, как началась в классах, тоже многие заскучали, шептались, ждали «существенного»—практики, а то, смотри, замучили: ламели, бёдра, уток, компенсаторы—мозги только сушат чертежиками, стрелками...

Вот и настало: тренировочный цех—машины старенькие, но всамделишные. На мясорубки, конечно, вовсе не похоже. Скорей, на инструмент какой-то музыкальный. На арфу, что ли... Как струнами, натянута основа. Кажется, тронь рукою—зазвенят нити. Ручку повернишь, пустишь машину, и завертелось, задвигалось, ожило в ней все—и бёдра, и компенсаторы эти самые, и ламели... Тут не зевай, знай, куда руки прикладать—не то и тянуть по пальцам может.

Боятся, боятся девочки живой опасной машины: ох, нечего было на «теории» позевывать. Валька—хитрюга, гляньте-ка, видать, не зевала: стоит себе, хоть бы хны, как у родного плетня. Мастер из ГПТУ—Софья Алексеевна—хмурится. В руке у нее секундомер: «Заправка, пуск станка, обрыв нити» и «Девочки, вязать узелки, как я показывала!» Ходит, как судья на матче, среди них, время засекает, в тетрадочке черкает. Узелки вязать, она говорит, очень, девочки, просто. В ложиничке специальной, над станком, пучок ниток—надвязка, вот так выдернула ее пальчиками, вот так оборванный кончик нити нашел и вот так—раз!—связал ниточки... До рези в глазах смотрит Валентина—не смотрнет... Ведь это, ах, просто фокус какой-то, рука, что ли, у мастера заговоренная? Дернет Валентина ниточку из надвязки, а в пальцах—две, и весь пучок остается как курицын хвост трепаный. Станешь узелок вязать—катаешь его в пальцах, каташь—до мурашек морозных—одной же рукой!—до онемения в суставах, а разомкнешь пальцы—кончики разошлись. И закипают отчаянные, злые слезы в зеленых глазах, ломит тонкую девичью кисть, сводит плечи к концу урока. Неуж не стянуть тебе судьбу в тугой узелок, Валька?

— Ну да, не стянуть! Вон Надька Голик научилась же...

Уносила затрапанный пучок надвязок домой—в общежитие. Отдыхают девочки: кто чай пьет, кто кудри вымет, кто в кино собирается. А Валентина сидит, ноги поджав на коечке, нитки из пучка дергает, узлы вяжет: первый да второй, десятый да сотый... Так и засыпает, зажав нитки в кулаке, взборматывая во сне. Так беспокойно, измученные тайной узлов, спят, должно быть, лишь моряки-салаги да физики-топологи. Кажется, мудреные люди—топологи, а и те признают: «Свойства даже простейших узлов наукой еще мало раскрыты». Знай это Валентина—может, легче бы ей стало? Вряд ли. Она бы свое заупрямила:

— Вон у Надьки Голик получилось же...

А утро новое, как кинодубль: учебная мастерская и быстрые руки, быстрые глаза и даже речь такая быстрая у Софьи Алексеевны, мастера. И тот же быстрый судейский секундомер в руке: «Взять узелки, девочки! Кто всех быстрей?» Вали напрягается, вспоминает округлое, неуловимо точное движение наставницы, сколько раз пыталась повторить его дома! И внезапно, чудесно, жданно и нежданно концы смыкаются—как сами собой! Один узелок да второй, пятый да десятый... Смуглое лицо горит от радости. Добилась!

— Смотрите, у Вали пошло, девочки, да преотлично!

Софья Алексеевна кажется ей в эту минуту красавицей, умницей—лучше всех! Похвалила... А ей ли не знать, ведь стахановкой была, ткачиха знатная... Но, чуть поостыть, косит Вали зеленый глаз в сторону Надежды: у той все же быстрей идет дело—легкая рука, знать, легкая судьба. Однако и брянские не из соломы деланы. Еще посмотрим...

Как-то Софья Алексеевна сказала в учительской,

разбирая свои записи: «Зеленоглазая-то эта—ничего... Кураж есть. Работать будет».

Получали первые «ученические». Синенькие пятерочки. Софья Алексеевна разложила по конвертикам, раздала торжественно, за руку каждую поздравила. После «отметили» в кафе «Березка»—посидели солидно за чайком с пряниками.

Вали свою «синенную» сразу обдумала: купила в универмаге мягкий шарфик и бандеролью в Мирный, батя. Представляла, как держит он подарок в больших руках, как дрожат от волнения добрые коричневые щеки. Будь здоров, батя, живи тысячу лет! Какая бывает тоска по дому... Снятся запахи даже—торфа, пирогов, свежесваренных щей... Снятся родные лица, родные голоса...

День связывался с днем, как нить с нитью. Были в полотнах, сотканных временем, и «закрещины» неудач и «соринки» обид.

...Отправили на практику в город Шую, на маленькую, старую фабричку. И месяца не прошло—разохались иные новоявленные ткачики: шумно им да трудно, в ногах ломота, в глазах маета... А там и побежали которые, даже книжку трудовую завести толком не успели... И подумать только: Надюшка Голик среди них. Ну, дела...

«А чего я в этой Шуе не видела-то? Мир широк. Да с моими руками нигде не прогадаю. Ну, и ты, Валька, не теряйся. Закиснешь тут. Пухом занесет, и потеряешься, как человек-невидимка. А надо долю свою искать». С тем и отбыла Надежда.

Расстраивалась компания. Горюет Валентина, задумывается: а может, права Надежда? Ведь заманчиво, сладко это—поколесить, побродить, посумасбродствовать даже, молодость ведь одна. Новые будут и места, и люди, и работа. Новая, интересная, неведомая жизнь... Да нет... Ей-то, Валентине, никак нельзя: за ней семья, ей бы на ноги встать, при заработках оказаться. Да и перед Софьей Алексеевной неудобно-то как: учила-учила дурочек, а они... Может, ей даже начнет какой по работе выйдет за дезертирство ихнее. Стыдно в глаза человеку смотреть, хоть и вчуже. И ей и всем... Комсомолки ведь, сознание-то иметь надо!

И у самой к тому же в Шуе не задалось. Помощник мастера попался резкий—«черствяк», по-Валиному. Не слова у него, а розги—хлысь да хлысь: «Нагнали сопливых... С ними заработкаешь... Браку наваляют, помельшат—и в сторону... А мне их учить—время тратить бесплатно. А семью мою кто кормить будет? Вертихвостки эти?»

А как начнет он Вале под руку приговаривать, нудить, как заведет... И, как ржавчина, разъедает Валину работу это злое ворчание. Лезет *жуткий* брак: сукрутины да закрещины, идут осечки, стопорит станок... Капают на основу горькие Валины слезы, стучит в висках: неумеха, неудачница, кувалда... Хорошо, ткацкое дело на бабах держится: есть к кому прислониться. Перемоглась, пережила, а до сих пор помнится те деньги, когда жизнь бобиной непочатой лежала, и только первая ниточка робко из нее потянулась, дала начало тому, что в ткацком деле зовут основой.

А там, глядь, и радость: объявляет наставница выпускникам, что работать их направляют в Иваново, да куда—на камвольный. В каждом профессиональном кругу есть свои заповедные точки распределения. Астроному—часть почасть в Бюро-кан, физику—в Дубну или Новосибирск, для ткачих Ивановский камвольный комбинат имени В. И. Ленина—не меньшая удача. Про него давно наслышаны были девушки: не комбинат—дворец. И внутри будто не простая вентиляция, а кондиционирование, как в Большом Кремлевском дворце. И воздух будто хвойной напоен, как в бору. Станки, конечно, самоновейшие. А цехи, говорят—во! И ткани, есть слух, такие делают, что и в Москве за ними давка... Ну и повезло—как в лотерею!

Валентина от радости сама не своя. Села немедля за письмо домой: все, родимые, я при деле!

Привожала их на комбинат Софья Алексеевна, обняла каждую, простила:

— Ни пуха, девочки!

Девочки смеются:

— Да помним ваши уроки—пух со станка обметать будем!

— То-то же,—наставница в ответ.—И еще помните: судьба наша простая, да нелегкая...

И с тем вошли ее девочки в огромный красивый дом, где, верно, и хвойной пахнет, как в бору, и шумит, словно в бору по осени—мощно, напористо. Как бальны, блестят под ногой алые полы. Белые птицы осеняют крылом: на каждой стоявшей голове ткачихи косынке белый лебедь уносится к облакам. Халатики синие с кружевчиками по вороту (хот и кружевца—как учителькам хотелось!), а по леву руку тоже лебеди. Ну, не красота? Как у Василисы Прекрасной: махнешь одним рука-

вом—гуси-лебеди летят, махнешь другим—волшебная ткань на пол падает. Сказка...

— Ну что, красавицы? Готовы? Пора и за дело.

Помощник мастера, улыбаясь, ведет за собой девичий табунок по алюминию, блескучему полу мимо свежеокрашенных стен, полированных шкафчиков бытовок. Иль, раскраснелись, довольные... Сколько их здесь останется через месяц, через год?

ПЕРВОЕ АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Нет ничего труднее, чем писать о так называемой «простой жизни». Потому, верно, что в жизни все непросто.

Как вы сами можете видеть, юная моя героиня не рвалась в летчицы, не мечтала поступить в физтех или стать, допустим, капитаном дальнего плавания. Что за этим? И не означает ли простая биография вялой души, ограниченности, робости мысли?

— А ты, Валька, согласна в ткачихи?—спросили ее подруги.

— Ну... можно и в ткачихи...—Так решалась ее судьба. Почти случайно. Шестнадцать девичьих лет—так ли это много? И если в полудетской еще душе, полудетском сознании так сильно, так определено желание не «выломаться» из семьи, чтобы найти долю посланца, а стать опорой, принять на плечи взрослую ношу, так много требовательности к себе, а не для себя—вялая ли это душа, робкая ли?

Профессию можно выбрать иногда случайно, судьбу—чаще всего нет. Никаким иным способом—«завидной ли службой» в городе, удачным ли будущим замужеством, ловкостью ли какой—и в голову не пришло этой девочонке построить свою крепко связанную с близкими судьбу. А только так, как впитано было с детства,—своими трудами да тяготами, по совести. Конечно, что особенного, кажется: в шестнадцать лет выбрала дело, начала усердно учиться ему, выстояла и первые неудачи и тот памятный каждому новичку испытательный срок цеховых будней, когда, перенапрягаясь от усилий, душа проходит притирку к делу и к другим людям. К новому миру, где отныне все твои надежды, и заботы, и главные события. Твой «кусок хлеба», как говорили в старину. В шестнадцать лет она добровольно приняла решение зарабатывать этот хлеб своими руками. Это было ее собственное, первое в жизни серьезное решение. Никто не толкал ее к нему, скорей, пытались удержать...

Так ли это просто: оторваться от теплого дома, поменять беззаботность школьного времени на взрослые дни—ранние вставания или поздние смены, напряженный рабочий ритм?.. И привыкать теперь отвечать самой и только самой?

Попробуйте... Если один человек, окончив свой день, говорит себе: «Можно сработать и лучше. Дождаться б завтра...»,—а другой: «Я свое отхомутал, пора и домой»,—это уже начала двух совершенно разных «простых» биографий. Если один, не давав душе лениться и напрягая волю и внимание, начинает день ото дня, час от часу видеть дело свое все ясней, и как бы крупным планом проступают для него неуловимые прежде детали, и как бы сами собой уже помогают друг другу ловкие руки и острые глаза, а другой все больше томится скучкой, и серой пеленой подернут его горизонт, и мысль мечется в поисках выхода, то есть очередной перемены декорации—это уже логичное продолжение двух различных «простых» биографий... Как много мы списываем (сами себе) на «молодой поиск», как мало еще научены ценить, по сути, бесценное: раннее упорство, раннюю цельность, и верность подаренному другими мастерству, и ощущение не выплаченного покуда долга.

Задумаемся же над простой биографией девочки из поселка Мирный, которая привезла с собой в Иваново не таланты прежде всего, а характер.

Характер, не просто замешанный на упорстве, но счастливый тем, что в нем набухли, готовые к росту, зерна общественного сознания. Комсомольская Валина юность, начавшаяся в школе, как у всех—воскресниками, веселым опекунством над малышами-октябрятами, постепенно крепла, наливаясь новой силой. Учила ли она, работала ли, Валя всегда жила с ощущением твердой опоры, с ощущением принадлежности. Комсомол давал ей это ощущение. Оно вмещало и долг и право. Было и ношей и крыльями.

Таланты и у Нади Голик были. Тде она теперь? Кто знает, отчего остановила тот особенный город, что, кажется, и прошлым и нынешним, всем воздухом своим помогает ищущим мастерства и «доли», питает их силу, наполняет жизнь? Город «вольных мастеров»—Иваново...

ВТОРОЕ АВТОРСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ С ИСТОРИЧЕСКИМ УКЛОНОМ

Иваново, как со многими старинными городами водилось, пошло от крепостного села. Но, видно, была в этой, одной из многих сотен заневоленных вотчин особища своя, ежели как щедрым дорогим подарком пожаловал ею царь Иван Грозный своему—князя Михаила Черкасского. Владели им позже гордые графы Шерemetьевы и другая знать. Селом дорожили, хотя известно было: земелька здесь малородная, хлебом с ивановцев не возьмешь. Красно же село было оброчниками—искусниками присты да ткать. Издавна «откупались» они холстами, крашениной да «набойками». В хронике за 1666 год об ивановцах говорится: «С товаренком в Шую почастую таскаются». Товар тот и был холсты, а хороши ли они были—судите сами, ежели скупщики за ними из-за самого моря не ленились ехать: англичане, к примеру, помногу брали—на корабельные паруса. А с XVIII века начали ивановцы «одевать» русский флот, и, настроив мануфактур, стало это село прорастать в город. И в следующем веке, когда после 1812 года остановились на время московские фабрики, ивановцы, освоив в своих мануфактурах «челюк-самолет», миткалими, ситцами, полотнами сравнялись со «знатными городами»—Ярославлем и Калугой. И мастеров по ткачеству, художников преследованных было здесь достаточно. В 60-х годах Иваново уже звали «русским Манчестером», а в 70-х официально «назначили» его городом.

Комитет министров, издавший на этот счет специальное положение, предписал новым городским властям тут же «неотлагательно озаботиться устройством в одном городского полицейского управления». Предусмотрительно... Вслед за тем появились фабричная полиция и фабричные кутузки. «Главную пищу для внутренней общественной вражды служат в Иванове весьма неприязненные отношения между фабрикантами и работниками... Здесь случалось нам слышать из уст простого народа фразы вроде следующей: «У нас обогащаются пытом бедных»,—так писал русский экономист и географ академик В. П. Безобразов. И немало осталось запечатленных современниками жутких картин «ситцевого ада» вроде этой: «...причесаем какие-то странные фигуры, похожие на чучела или огородные пугала: то рабочие люди—мужчины и женщины... Эти люди покрыты таким толстым слоем пыли, что нет возможности отличить их лица от платья. Большинство рабочих—женщины и девушки... Видим еще детей—мальчиков и девочек... Все, как взрослые, так и дети, работают стоя в продолжение двенадцати часов в сутки—смешные и четырнадцати—дневные и ни на минуту не присядут под опасением штрафа, работают они без обуви, разувшись, и голыми ногами ходят по каменному полу, а мужчины даже без нижнего белья. Душно, воздух пропитан запахом масла...»—из описаний Филиппа Нефедова, побывавшего на фабрике Никона Гарелина.

И сложил в те времена кто-то из ивановцев песню, горькую, как зелье кабацкое, пронзительную, как стон надорваний души:

Мучит, терзает головушку бедную
Грохот машинных колес.
Пыль застилает мне оченки ясные
Крупными каплями слез.
Ох, и зачем же, зачем же вы льетесь,
Горькие слезы, из глаз!
Делу помеха, основа попортится—
Быть мне в ответе за вас.

Теперь понятно, почему ивановцы оказались первыми студентами в революционных университетах:

Один ответ у трона:
Пороть нагайкой нас.
Нагайкой не убить
Живая мысль у нас.
Уж скоро паразитам
Придет последний час.

Так запели ивановцы после знаменитых стачек 1885 и 1905 годов. И в те именно годы биографии многих «простых» ивановцев становились частью истории русской, ее новой, славной истории. И сейчас она смотрит на нас названиями улиц, фабрик, заводов—Куконковы, Балашов, Варенцовы, Бабушкин, Дунаев, Фурманов, Фрунзе. «Пришли наши дни—мы их ждали»,—фурмановские слова об октябрьских дни в Иваново-Вознесенске. «Русский Манчестер» стал «красным Ивановым», и вот с той поры пошло копиться для будущих наследников бесценное приданое: опыт свободного

труда. Страсть и дерзость творчества соединила вековое искусство тонкопрях и ткачих с грамотностью, сознательностью и ощущением той силы, что, передаваясь от поколения к поколению, становится наконец могуществом. Текстильщики ивановские, как и верилось, соткали «прочную ткань революционного хозяйствства».

А после—горячие стахановские пятилетки, рекорды Дуси и Марии Бибиградовых,—и—от личного успеха к общему—подхватила «красную нить», прошившую наши 60-е годы, Валя Гаганова, и как бы наращивая ее, «личные пятилетки» ткачих 70-х годов...

И как первый в стране нашей Иваново-Вознесенский Совдеп, как азартный лозунг-клич «Даешь встречный!»—ничто не превратилось здесь в простую историческую хронику, все влилось и влиается в живой опыт новых поколений.

Новое поколение—кто же это? Да хоть те же девчонки с Ивановского камвольного комбината, да же Валя Голубева... И какой же город достался им в наследство! С какой родословной! Говорят, в Иванове ситец всех других ярче, девушки всех прочих смелей. На танцах сами ребят наперебой приглашают, а, мол, кто растеряется, той-то парня и не хватит. (Известное дело: бабий город, имеются проблемы, хоть и не так они остры, как несколько лет назад, когда индустрии для мужчин в Иванове почти вовсе не было.) Так ли, нет ли, кому проблема, а тут года не минуло, как пришла Валентина на комбинат, а молва уже повязала ее с молодым поммастером Борисом. Людей на камвольном «большие тыщи», как говорится, а ничего не скрыть: глаз-то много, да и счастье видеть издалека. Какие жаркие стали у Вали щеки, какие сияющие глаза... И прическа «повзрослевая»—легла наискось, через лоб, тяжелая прядь, оттянула назад голову тяжелый каштановый узел. Не исчезла в походке легкость, но появилась стать. И в любви везет, и в деле спорится... Приглядываются ветеранки к молодухе, составляют одобрительное мнение: дело пойдет, жилка имеется, полет есть. Оыта, конечно, еще маловата, но ведь свой-то опыт-то из времени берется, значит, впереди все: чужой, правда, и сейчас к делу приладить возможно... И нешибко-то пожилые, а уж давно заслуженные камвольщицы-старожилки Евдокия Мусинова и Галина Никитина стали молодуху наставлять. Глядь, и сменила Валентина голубую фирменную косынку на красную—ту, что дают лишь мастеркам самому лучшим. И кажется, шире еще плещут на ней крылатые белые лебеди, еще выше поднимаются, уносят Валю...

— На свадьбу-то, Вальк, когда позовешь?
— Ой, девочки, видно, уж скоро.
— Фамилию-то мужчину возьмешь?
— Наставляет...

Вот и стала—очень скоро—работать на комбинате вся семья Голубевых. Он, да она, да еще малыш с ними: Валя в ожидании. Радость, конечно, но пошел разговор: «Валькина тропа укоротилась, родится малый, не до рекордов... А ведь как будто собирались... Вот она, девочки, бабы судьба».

А какой же славный родился малыш—с кожей мягче самой пушистой ровинцы, с тельцем тугоим, как бобинка непочатая. Опять Валя пишет домой письмо: «Щедра все же жизнь, спасибо ей!»

В тесном, первом своем жилье «лётает» Валя по новым «тропам»—от плиты до таза с бельем, от кроватки к колясочке («тропа»—поткачки—дорожка между станками). «Лётает» по привычке расчетливо, как в цехе старалась,—по «маршрутке».

Забегут подружки, Павлика потешкают, чаю попьют, повздыхают:

— Не вернуться тебе, Валька, в цех... Две ноги дорогих не потянуть, подружка.

— Ну да, не потянуть... Косынку мою не потеряйте смотрите. И шкафчик в раздевалке чтоб был за мной!

...Павлику и пяти не было, но уже выговаривал: «Моя мама—трудовая и доблестная». Высокоинформированные современные дети—они же все знают, ничего не пропустят. А тут поздравляют со всех сторон, и даже по радио говорили: маме награда из Москвы за победу в соревновании.

— Мама, соревнование—это чего? Кто скорей побежит?

— Да, пожалуй, можно так, сыночка, но только не с пустыми руками, а с полными.

— А чего в руках? Конфеты?

— Чудик! Я ж не на кондитерской работаю... Через наши руки речка такая течет—цветная, ни конца ей, ни краю... Что из нее выловить можно? Костюмы, платья, штаны—для таких вот любопытных малышей...

Окончание следует.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Смена

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Основан в январе 1924 года. Выходит два раза в месяц

№ 1 (1215) ЯНВАРЬ 1978

МОСКОВА ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРАВДА



Наша обложка:
портрет ткачихи
Валентины
ГОЛУБЕВОЙ
работы художника
Александра ШИЛОВА.

- 1 РАБОЧАЯ ПОВЕСТЬ «СМЕНЫ».
Элла ЧЕРЕПАХОВА. «ЗНАКОМОЕ ЛИЦО».
- 4 МУСА ДЖАЛИЛЬ. «В БУЛАТНЫЙ МЕЧ ОТКОВАННОЕ ИМЯ...».
- 5 ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЮ.
Лев УСПЕНСКИЙ. «ЗЫБУН».
- 8 РАССКАЗЫ Юлии ИВАНОВОЙ.
- 12 МОЛОДЫЕ ГОРОДА.
«НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ТРЕХ ДОРОГ».
Фотоочерк Валерия ЕВСЕЕВА и Альберта ЛЕХМУСА.
- 18 ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ.
Владимир САВЧЕНКО. «КОНТРАЗВЕДЧИК РЕВОЛЮЦИИ».
- 20 РЕПОРТАЖ О ИНТЕРЕСНОМ.
«ЗОЛОТАЯ» ПОСУДА.
- 22 АВТОБИОГРАФИИ.
Алексей ГРИБОВ, народный артист СССР.
«КАЖДЫЙ РАЗ—ВПЕРВЫЕ»
- 24 ЭТЮДЫ О ХУДОЖНИКАХ.
Илья ФОНЯКОВ. «СТРОЙКА. КАКОЙ ОНА СНИТСЯ».
- 26 ЧЕМПИОНЫ О СЕБЕ.
Валерий ХАРЛАМОВ, заслуженный мастер спорта.
«И САДОВНИК В НЕМ—ВОЛЯ!»
- 28 Братья ВАЙНЕРЫ. «ГОРОД ПРИНЯЛ...» Повесть.

Главный редактор А. А. ЛИХАНОВ

Редколлегия: В. С. АБАШИН, Б. Л. ДАНЮШЕВСКИЙ,
А. П. КУЛЕШОВ, В. В. ЛУЦКИЙ (заместитель главного редактора),
Г. Л. НЕМЧЕНКО, В. Г. ПОБЕДОНОСЦЕВ (ответственный секретарь),
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Е. И. РЯБЧИКОВ, В. А. САЮШЕВ,
В. И. СЕВАСТЬЯНОВ, Г. В. СЕМЕНОВ, Г. С. ТЕРЗИБАШЬЯНЦ (главный художник),
Б. А. ФАИН, Д. Н. ФИЛИППОВ, О. Н. ШЕСТИНСКИЙ.

Художник В. В. Вантрушов. Технический редактор Л. И. Курлыкова.

Издательство «Правда». «Смена». 1978 г.

Муса ДЖАЛИЛЬ

В БУЛАТНЫЙ МЕЧ ОТКОВАННОЕ ИМЯ..."

Неизвестные стихи

На войне

Как страшно ночью на земле
И страшно в небесах!
И землю огненный снаряд
Корежит на глазах.

Но то не ночь, а черный день,
И сердце устает
Стучать, когда вовсю стучат
Зубами пулепет.

И снова молнией снаряд
Ударил тяжело.
И вот откуда-то «Ур-рай»
Рванулось и пошло!

И вновь средь дыма и огня
Вскипает встречный бой—
Уже летят войско к войску
Отпущенной стрелой!

И разорвавшийся снаряд
Уносит в небеса
И души гибнущих солдат
И злые голоса...

1920 г.



Помню

О, та улыбка первая любви—
Как чутко дрожала она светилась, помню!
Открытым сердцем я в глазе твоем
Вдруг заглянул—как ты смущалась, помню!

Когда ж надежда голубым дыхком
Растаяла однажды в тихом полдне,
Бессонница мне стала горьким сном,
И все и все во мне становило, помню...

Прошли годы. И тот я и не тот.
И вспоминать, как давний сон, легко мне:
Любовь склоняет, каждою гнетет,
Но в утопленье—гибель. Я-то помню!

1938 г.

Песня девушки- рыбачки

1
Волны мои, волны,
Вы о чем поете,
Отчего так тяжко
В темный берег быте,
Волны мои, волны?

Вы зачем гремите
Белокрылой пеной?
Так взлетает в небо
Дикий лебедь белый,
Волны мои, волны!

Я ненави укором
Вас не потревожу—
Ваша страсть на нашу,
Женскую, похожа,
Волны мои, волны!

Знаю, от тоски вам
Никуда не даться,
Бьетесь вы, как бьется
Любящее сердце,
Волны мои, волны!

2
Как меня любимый
Покидал, прощаясь!
Как в объятьях ваших
Уплывал, качаясь,
Волны мои, волны!

Долго ждать мне друга,
Долго жить с тоскою!
Не уйду отсюда,
Стану вам сестрою,
Волны мои, волны!

О любовь и радость,
Богатырь мой милый!
Только с ним вы схожи
Нежностью и силой,
Волны мои, волны!

1936 г.



Нравственный и творческий подвиг Мусы Джалиля неотделим от подвига всего нашего народа в Великой Отечественной войне. «Молитвская тетрадь» поэта до сих пор потрясает сердца миллионов людей. Однако далеко не все наследие Мусы Джалиля известно широкому читателю. В этом номере «Смены» предлагается изложение читателям подборку неизвестных стихотворений Мусы Джалиля — от самых ранних, юношеских, до созданных в предвоенные годы. Отрывок из стихотворения «На войне» написан, когда Джалилю не было и четырнадцати лет, написан, как говорится, по горячим следам. Известно, что именно тогда, убежав из дома, он прибыл к отряду, который вел тяжелые бои с белой бандой недалеко от селения Мустафино. Две недели настоящей войны, испытаний, тяжелого ратного труда! И это в таком юном возрасте! Только пережитое или переживаемое самим поэтом выплавлялось под его

пером в горячие строки. Публиковал он не все, ибо требовательность его была безгранична. Ему было очень важно, каким предстанет в читательском сознании его лирический герой. Герой же этот — человек сильный, жизнестойкий, созидатель. Имеет ли он право на минутную слабость? Этот вопрос всегда интересовал поэта.

Жизнь и подвиг Мусы Джалиля сами собой воссоздавали образ лирического героя с образом героя-поэта. Все бесценнейшее для нас становится каждой неизвестной его строкой, каждое свидетельство сложного бытия его чуткой, легкоранимой души. Мы-то знаем сегодня, до каких вершин духа он поднялся в самые страшные свои дни. Преодолением минутных человеческих слабостей, познанием добра и зла, верой в свой народ и его идеалы, чистой гордого сердца была вся его жизнь.

Юрий КУШАК

Лыжные следы

Все что-то пишут, пишут лыжи
На снегу.
Бездельник-ворон взгромоздился
На суху.
Береза синюю отbrasывает
Тень.
И я бездельничал тоже
В этот день.
Мы оба слушаем, как рада детвора
Как звонко катится
Под лыжами гора.

Следы от лыж—
Голубоватые слегка,
Летят лыжи,
Как за строкой летят строки:
У одного малышки почерк
Прият и строг,
Зато другой
Все норовят наискосок,
А та девчушка,
Снежной радугой пыла,
На солнце пишет
Золотые оканзки.

И я читаю, словно в детстве,
По складам.
Легко узнать любой характер—
По следам!
Ах, красногалстучное пламя,
Мчи вперед—
Да будет смел, да будет весел
Твой полет.

Вот старый ворон шевельнулся
На суху—
Ребячий смех натянул на ворона
Тоску,
И на ребят и на меня
Махну крылом,
С досады каркнул он и скрылся
За бутром.

А я стоял. И так бездельничать
Устал,
Что все следы на этот лист
Переписал.

Дата неизвестна.

Шли вдоль леса мы и пели так вдвоем,
Словно мы еще когда-нибудь споем.
Лес окончился, раздвоились пути:
— Ну, прощай же!

— Будь здорова, не
грусти!

Торопил тебя гудками паровоз.
Все глядел я на дорогу, на откос.
— Ну, прощай же!

— Обязательно пиши!
Обещали. Камень сбросили с души...

Дата неизвестна.



Окончен путь могильной звездой.
И вот за подвиг свой обрел ты право
Остаться в песнях Родины славой,
Принять, как дар, любовь ее и славу:
В ее свободе, в доблести ее
Пребудет вечно мужество твое!

И обратят враги Отчизны заспирь
В булатный меч откованное имя.
Тебя в навозах будут вспоминать
Красавицы с дружками молодыи.
И пусть печальны будут их глаза—
В них не блеснет безвольная слеза!

Жива свобода — и умрет любовь.
И жизнь шумит, как тополь у могилы.
В твой смертный час из черной раны кровь
Не в землю перешла, а в наши жилы!

Дата неизвестна.

Перевод с татарского
Юрий КУШАК.

Рисунки Игоря СУСЛОВА

Лев УСПЕНСКИЙ

ЗЫБУН

Вы не знаете, что такое зыбун? Сейчас объясню. Тот, кто бродит по лесам нашего севера и северо-запада, может в жаркий день, устав проридаться сквозь непролазную чаще, вырваться вдруг на ярко освещенное пространство — нечто вроде изумрудно-зеленои луговины, поперечником в километр, а то и в полкилометра.

Пространство это поросло странно-зеленои травой. Кое-где по нему разбросаны худосочные сосны-недоростки. В центре бархатного, приганичного луга блестит что-то вроде пруда или озера, круглого, как и вся луговина. На его темной воде качаются — издали видно — огромные белые лилии-кувшинки. Над лилиями порхают стаи крупных стрекоз.

Вам осточертят влажный, почти не проходимый ельник за спиной. Пот заливает глаза. Вы уже рванулись добежать по зеленои мураве до берега озерка, упасть лицом к воде, оплеснуть себя ю, а потом пить, и пить, и пить...

Беда, если около вас не окажется в этот миг опытного лесника или охотника, местного жителя с сильными руками. Он схватит вас без долгих разговоров за плечо и развернет спиной к лугу, лицом к лесной чаще. «Вы что, спятили? — окликнет он вас без всякого почтения. — Никогда не видели, что ли? Это же зыбун!»

Почти пятьдесят лет назад мне, юнцу, «товарищу лесничего», пришлось в Псковской губернии с огромным трудом и великими предосторожностями, под руководством опытнейшего следопыта-лесника веревками и жердями вытаскивать из такого вот зыбuna по какой-то оплошности завязшего в нем по самую грудь молодого лося.

Не выйди мы совершенно случайно именно к этому месту страшного болота или запоздай туда хоть на четверть часа, мы бы даже не узнали никогда о том, что произошло за несколько минут до нашего прихода: от лесного богатыря на поверхности ничего не осталось бы.

На глазах моего друга-партизана в годы войны в зыбун попала — с торопливого марша — целая цепочка гитлеровцев-карательей: дюжина вооруженных до зубов солдат с автоматами, с ручными гранатами, с ракетницами, с саперными лопатками на бедрах и даже с двумя овчарками на поводках.

В тех местах, откуда эти воители к нам прибыли, никто и не слыхал про зыбуны.

Мой друг уничтожил за годы войны не одну сотню фашистов. Он ненавидел их ненавистью горячей, как расплавленный чугун. Но он сказал мне,

что ничего более страшного, чем эта, точно в замедленной съемке проходившая перед стеклами его полевого бинокля, растянутая на семь или десять минут картина бесследного и неотвратимого исчезновения десятка или чуть больше бьющихся, проклинающих, стонущих, бессильных хоть чем-либо помочь один другому людей, он в своей жизни не видел. А видел он много и разного.

Так вот: три полученных мною письма пришли или из самого ЗЫБУНА, или же непосредственно с его коварного закрайка.

Исправлю неточность: автор одного из них находится пока что скорее в положении человека, наблюдающего зыбун со стороны, хотя и в непосредственной от него близости.

Нет, я не буду здесь в подробностях излагать содержание всех трех писем: это и долго и ни к чему. Но кратчайший конспект их мне придется здесь дать, иначе вы, дорогой читатель, просто не способны будете понять, почему все они, вместе взятые, вызывают у меня чувство такой острой тревоги и горечи. А нужно, чтобы оно проснулось и в вас.

Первое письмо — самое «благополучное». Тамара Дроздова, живущая в Красноярске, а до того работавшая в Норильске, сварщик-монтажник по цветным металлам, 21 года от роду, считает свою жизнь удавшейся и не вызывающей в ней самой никакого недовольства.

Это не совсем так. Тамару все же огорчает кое-что в ее окружении, а именно состояние общественной жизни на предприятии. На ее глазах, но по причинам, для читателя неясным, на производстве, где она работает, сотрудники по работе «со света сжили» хорошего сварщика, интересного человека, некоего Сашу, а Тамару, когда она заступилась за этого молодого человека, посчитали просто ненормальной.

Что же сделала Тамара, чтобы помочь Саше? Обратилась к секретарю комсомольской организации. Что сказал секретарь? Он сказал, что не намерен разбираться с ней этот вопрос, потому что она не член ВЛКСМ. Что возразила Тамара? Ничего: незадолго перед этим она перестала платить комсомольские членские взносы. На беседе в райкоме она объяснила товарищам, что поступила так потому, что у них в комсомольской организации «неинтересно». В письме она добавляет, что и комсомор их двух слов связать не может, и вообще «никакой работы нет».

Вас удивляет, что именно это письмо я называл «благополучным»? Не удивляйтесь!

Еще одну новую рубрику представляем мы в этом номере. Назвать ее мы решили «Письмо читателю». Наша почта полна писем, в которых читатели делятся с нами своими заботами, задают самые различные вопросы, обращаются с просьбами дать совет, как поступить в той или иной жизненной ситуации. Подчас несколько писем носят одинаковый характер, и тогда перед нами возникает необходимость ответить читателям на страницах журнала. Причем если сегодня с письмом-ответом к вам обращается писатель, то в следующих номерах мы представим такую возможность юристу или врачу, педагогу или министру, ученому или спортсмену. То есть любому авторитетному человеку, специальность или род занятий которого подскажут нам ваши письма.

Открыть новую рубрику мы попросили известного ленинградского писателя Льва Васильевича Успенского, который комментирует три письма читателей «Смены».

Второе письмо написано Наташей С., живущей в Иркутске. Наташа — школьница, видимо, восьмиклассница. Читать ее письмо и жутко и отвратительно. Ей 16 лет, но она уже ПЬЕТ. Пьет вместе с «друзьями просто» и с «друзьями по пьянке» — в подъезде. Пока что ее компания еще никого не била, как компания Сергея Сафонова, письмо которого она читала в «Смене», но в любой миг такое может произойти. Почему? Потому что, по словам Наташи, «пьяные, они теряют контроль над собой» и за свои поступки не отвечают. Наташа понимает, что пьянство — мерзость. Но... что ей делать, спрашивает она, если ей «предлагают стакан»? Отказаться? «Но быть трезвой среди пьяных неинтересно». Просто уйти? Но это значит «оставить друзей в беде». И Наташа остается с друзьями. И пьет.

У нее много претензий. Отец ее — пьяница и буй. Наташа обидно: почему-то мать пьянство отца замечает, а ее, Наташину, нет. Она говорит, что раньше она доверяла матери, а теперь не доверяет. Выход из этого? Наташа «склоняется» с подружками, и они пьют.

По ее словам, влияния на своих подруг и товарищей она не имеет. И потому отговаривать их от пьянства считает занятием бессмыслицей: они сами знают все.

А вот вывод, который Наташа делает, оригинален. Она полагает, что «...парня еще может спасти армия, а вот девчонку только вы сами, парни! Отберите сигареты и не давайте им пить!»

Третье письмо. Надо сказать прежде всего, что все присланные мне редакцией письма, за исключением первого, безымянны. Вообще, читая анонимное письмо, возникает острое желание бросить его в корзину и хороенько вымыть руки. Правда, анонимность данных писем, может быть, стоит отчасти извинить тем, что она свидетельствует: в душе писавших их юноши и девушек живет еще чувство стыда за свое поведение, не погасла совесть. Так вот это, третье письмо, анонимнее других, если можно произвести такую степень сравнения. Тамара Дроздова сообщила нам свои имя и фамилию рядом с местом обитания — Красноярском. Наташа С. из Иркутска скрыла свою фамилию за одной буквой. Автор же третьего письма на конверте в качестве обратного адреса поставил «Челябинск», а письмо закончил на полуслове, без каких бы то ни было признаков подписи...

Из письма можно понять, что его автор — великий «эстет» и крупный знаток музыки «pop, rock, country, blugum, disco и т. д.», как он сам

пишет. Правда, один школьник, знающий английский, случайно увидев эти строки, разъяснил мне, будто никакой музыки «blugum» нет, а что это просто сорт жевательной резинки... Но это не мое дело: я знаю, что «disco» в переводе тоже значит всего лишь «пластинка», но ведь письмо-то не мое, а челябинца.

Рациональный смысл письма челябинского «эстета» заключается в постскрипту. Вот кратко его содержание: «Нужно, чтобы молодежный журнал «Смена» печатал больше очерков о рок-музыке с фотографиями». Но постскрипту занимает 10 строк письма, а все оно 10 страниц. Его содержание мне придется еще коснуться.

Любопытно: перед нами — три письма, три человека. В глаза бросается, какие это разные письма и какие разные люди их писали. И все-таки, присматриваясь, замечаешь одну общую для всех черту: все они оказываются слабодушными, пассивными, не борцами, а существами, склонными плыть по течению, подчиняться кому-либо со стороны и даже вроде гордятся своей слабостью.

В просторечии таких зовут «слабаками». Может быть, термин этот и недостаточно благозвучен, зато его нельзя не признать абсолютно точным.

Тамара из Красноярска, судя по всему, действовала в защиту попавшего в беду товарища. Но проанализируем ее действия. Она выступала, как единоличница, как одиночка. Неужели в коллективе того предприятия, где разыгралась драма сварщика Саши, не нашлось, кроме Тамары, НИ ЕДИНОЙ ДУШИ, которая вняла бы ее, Тамариной, речам в его защиту? Которая не поддержала бы ее, не заступилась бы вместе с ней за невинно-генимого? Это кажется странным. Уж не ошибалась ли Тамара Дроздова в своем подзащитном?

Навряд ли можно всецело одобрить и те «подвиги», которые совершила молодая женщина, разочаровавшись в комсомольской организации своего предприятия и, в частности, в некрасиворечивом комсорге. Как она поступила? По самому простому и, я бы сказал, инфантальному способу: она перестала платить членские взносы, а после короткой дискуссии в комитете ВЛКСМ, когда стороны не пришли ко взаимопониманию, «положила на стол свой билет и ушла». Представляете себе, чтобы в трудную минуту Жанна д'Арк встала в землю меч и, сказав: «С меня хватит!» — удалилась бы заниматься крестьянским трудом. Вряд ли мы помнили бы несколько веков спустя ее имя.

Я не знаю женского рода от слова «слабак», но, дорогая Тамара, вы по-

ступили, как самый настоящий «слабак» в юбке.

Больше всего извинений, разумеется, у Наташи С. Она может сослаться на дурной пример отца — запойного пьяницы. Она может защищаться своим несовершеннолетием: ведь из всех троих она одна — поистине девчонка. Ведь вполне возможно, что у нее дома за шкафом еще валяется полуоблысевшая кукла, которую она играла два, ну, три года назад.

А теперь эта девочка тоже валяется, как и ее кукла, но в темном закутке за лестницей чьего-то дома. Ее руки скользят по грязному полу. Она хочет встать и снова падает, потому что остальные, более крепкие, попробовали поднять ее и махнули рукой: «А, холодно станет — пропретится!» Они ушли, «друзья по пьянке» и «не по пынке».

Но, Наташа, заметь: есть две силы воли: одна — чтобы иметь возможность совершать плохое, вторая — чтобы совершать хорошее. Вот этой второй силы воли у тебя — минус бесконечность. А первой — сколько угодно.

Мама твоя может плакать, избитая отцом, — ты все же пойдешь к своим «друзьям по пьянке», делая вид, что не замечаешь ее всхлипываний. Тут у тебя сильная, но дурная воля. А вот взять и разбить купленную подружками бутылку портвейна или выльть ее содержимое в снег — на это ДОБРОЙ СИЛЫ ВОЛИ у тебя не хватает. Так же, как не хватает ее, чтобы уйти от пьяничек. Тут ты начинаешь фарсировать, лицемерить: «Это будет предательством! Мальчики, парни, помогите девочкам!»

Ты уверена, что на твой зов сбегутся трезвые, непьющие, добродетельные парни? Ты уверена, что не прибегут такие же, как ты и твои подруги, слабаки, которым совсем не интересно обращать тебя на путь истину?

Если бы ты знала, Наташа, как короток путь по жизни женщины-пьяницы, ты бы испугалась. Для тех твоих подруг, которые не пьют, настает пора расцвета, время любви, может статья, пора спортивных или научных достижений. А тебе предстоит, как твоей старой кукле, валяться в 20 лет «за шкафом» жизни. Никому не будет нужна вечно навеселе (на «горьком веселе!»), растрепанная, с опухшим лицом, преждевременно состарившаяся баба, клинчащая у двери винного магазина, чтобы ей купили бутылочку красного. Женщины будут называть тебя неблагозвучными словами. Мужчины — презрительно отворачиваться...

Не будь слабаком! Разве это кошмарное будущее. Сама! Без парней-проповедников!

Остается третий случай: любитель музыки из Челябинска. Казалось бы, зачем юному, влюбленному в музыку (он пишет: «Ничто нашей жизни не может быть дороже, чем музыка»). Ну, что ж, наивно, но трогательно: одержимый!, зачем бы ему скрывать свое имя, писать без подписи?

А затем, что не в музыке для него дело. Отвратительно мне переписывать его нечистоплотные и извращенные «переживания», но ничего не поделаешь — надо.

«Дорогая «Смена»!

Я, один я. Кругом религиозная (?) пустота; обшарпанные стулья, горькая водка, музыка disco, страдающая и жаждущая душа... Повсюду пассивность... коньки, лицо, еще очень молодое, но разочарованное... стихи Бодлера...».

Может быть, этот непризнанный гений музыки и философии и на самом деле носит в груди клубы великих мыслей, пугающих своей новизной?

Увы, вот что у него «в груди»: «старый, заброшенный чердак вместе с пластинкой Джоан Базз, остатки пищи, поглощаемые крысами... коньки... водка, льющаяся в молодые мужские глотки...»

Страницей дальше, с трагического многооточия: «...Пусть я буду страдать, пусть перед глазами моими будет всегда стоять накрахмаленное кружевное жабо, чердак, пахнущий сеном и мебелью (?), сексом, Джоан Базз с длинными грязными волосами...»

И так далее и тому подобное... Нет, я понимаю, почему этот «эстет» не рискнул подписатьсь: как подпишешься, упившись такими ароматами?! Но ему, слабаку, представляется, что в его вымученной галиматье, где через строчку стоит имя какого-нибудь заграничного джазиста, для пущего шика начертанное латинскими буквами, все необыкновенно ново, свежо, пикантно, оригинально.

64 года назад, в 1914 году, в наш класс кто-то принес книжонку, которую папы и мамы запрещали нам читать. Называлась эта книжонка «Записки огарка». Огарками в той, старой России, именовали юношей, напоминающих современных западных «хиппи».

Так вот, могу уверить челябинца, что если прочитать одновременно и эти «Записки» и его письмо, получилась бы однородная масса, в которой слова и мысли челябинца 1977 года было бы немыслимо отличить от слов и мыслей «огарка» года 1914-го. Старо!

«Я хочу орать во все горло, — яростно пишет страдающий молодой человек, — мне больно, мне очень больно, тошно, скучно».

Само собой, орать он не может, разве что жалобно пишать. И, пожалуй, правда в его письме прорывается только в одном месте, на 3-й странице: «Я никогда не был и не буду счастлив. Моя жизнь — кривляние, компромисс и неудовлетворенность». Вот «кривляние» — это то слово.

Я пишу это все с некоторой неловкостью перед жителями громадного, населенного тружениками — рабочими и студентами, инженерами и учеными, индустриального советского города Челябинска. Один из их сограждан видит в нем только чердаки, где крысы пожирают нечистоты, только водку и коньки, да еще, ко всеобщему изумлению, «кружевные жабы». Я не верю ни в такой Челябинск, ни в такие «жабы», ни в такие «страдания».

Человек «изнывает» от диких мук и пишет письмо на десяти страницах, выводя строку за строкой каллиграфическим, ясным, абсолютно спокойным почерком. Человека «терзают» глубочайшие душевные страдания; он убит утратой былых изысканных наслаждений. И в то же время на десяти страницах своего письма он аккуратнейшим образом перечисляет, с соответствующими характеристиками 18 названной джазовых групп и ансамблей и 18 имен западных музыкантов, певцов и певиц... На первый взгляд редкий случай музыкальной одержимости...

Увы, первая же девушка-студентка, которой я показал это письмо, расхочаталась: «Лев Васильевич, вас разыгравают. Все эти имена и названия «групп» списаны с каталогов зарубежных звукозаписывающих фирм. И название «диско» взято оттуда. С этих каталогов мальчики — любители поп-музыки и списывают имена... Я вам принесу такой список!» И принесла. И там встретились мне знакомые благодаря челябинцу Барри Манилов, который поет, что «он очень хороший мальчик», и «слепой гений Стини Уондер» и все остальное, пользуясь удачным словом челябинца, «кодло».

Нет, сверханоним, называвший себя жителем Челябинска, вы не фанатик ни «Барри Манилова», ни «бабблгам-музыки», ни своей горькой участи. Вы слабак и притом самый жалкий из всех, потому что вы слабак позиционирующий.

Вам душновато, читатель? Вы прочли все это, правда, в выдержках и однажды. Я же перечитывала это «соб-

рание сочинений» по крайней мере десять раз, а ведь оно далеко не изящная «переписка мадемузель де Скюдери». Я раздумывал над каждой строчкой. И мне не один раз вспоминались некоторые статьи на педагогические темы в нашей печати. Правда, читая, я воспринимал их с моей, отнюдь не квалифицированно педагогической, точки зрения. Но ведь и написаны они не только для педагогов.

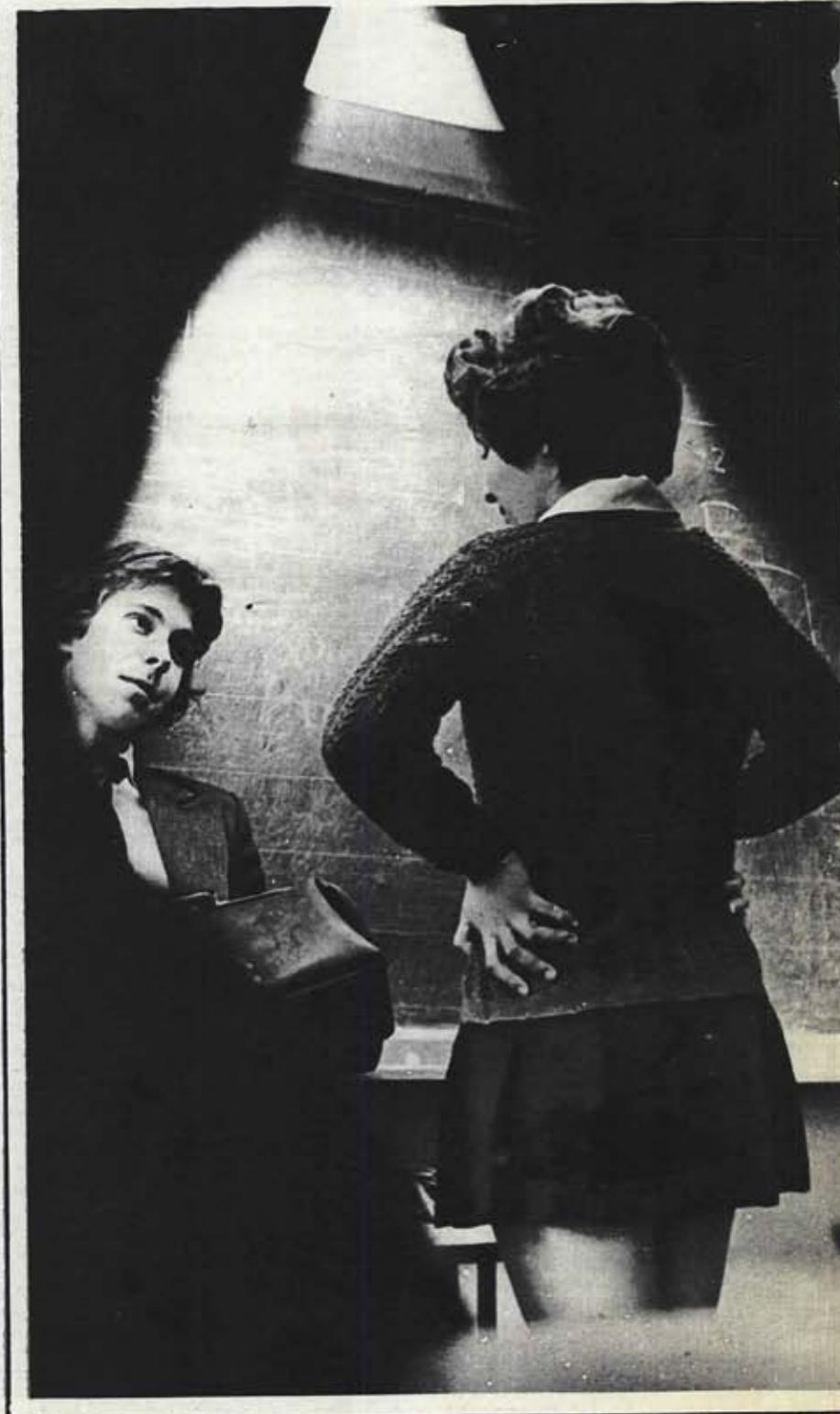
В длинном ряду упомянутых мною статей утверждается, что основным принципом воспитания юного гражданина должно быть УВАЖЕНИЕ к нему, начиная с его младенческого возраста. Это положение обосновывается ссылками на самые большие педагогические авторитеты — от Амоса Коменского до В. Сухомлинского включительно.

Между тем следовало бы разобраться, что разумеют авторы этих трактатов под самим словом «уважение».

Хорошо известно, что любое слово любого языка многозначно. Если два человека говорят о ЛЮБВИ, но один под этим словом имеет в виду чувство, которое питал Ромео к Джулiette, а второй — то, которое его маленькая дочка испытывает к мороженому, вряд ли они договорятся до какого-нибудь общего мнения. А кто-то из персонажей В. Шишкова уважал водку закусывать сметом из-за окна. Думается, не о таком «уважении» мы должны вести речь.

В большинстве наших толковых словарей уважение объясняется как чувство избирательное, которое можно испытывать по адресу кого-либо, обладающего достоинствами, прекрасными качествами или способностями. Это довольно ясно демонстрируется и практическими примерами. Спросив вас: «Уважаете ли вы Иванова, живущего в Ленинграде на Садовой, 37?», — я, несомненно, заставлю вас по-

ИЗ СНИМКОВ, ПРИСЛАННЫХ НА ФОТОКОНКУРС «СМЕНЫ» «МИР МОЛОДОСТИ СТРАНЫ СОВЕТОВ».



жать плечами. «Как можно уважать неизвестного человека?!» Надо посмотреть: а за что его уважать?

Другое дело, если я спрошу, уважаете ли вы балерину Надежду Павлову, или негритянскую политическую деятельность Анджелу Дэвис, или, скажем, большого советского ученого-генетика Николая Дубинина. Тогда по вашим ответам можно будет скорее судить, заслуживаете ли уважения вы сами.

Вот если теперь вернуться к любви, то нам придется констатировать наличие существенной разницы между этими двумя понятиями — «уважение» и «любовь». Разница эта заключается прежде всего в том, что вторая направлена на «я», на индивидуум и рождается в момент возникновения этого «я», то есть в момент появления человека на свет.

Уважение же адресовано всегда только сложившейся личности.

Если передо мной в кроватке пускает пузыри малыш в розовых ползунках, я могу растаять от нежности, от умиления, наблюдая за его милыми и смешными движениями. Однако спросите меня: «Уважаете ли вы, Лев Васильевич, этого Дениску?», — и я удивлюсь вашему вопросу: «Простите, а ЗА ЧТО мне его уважать?» Все качества и свойства, которыми блестит малыш, вполне способны вызвать ощущение того, что это дитя мне «нравится», больше того, что оно миловидней, спокойней, ласковей, скажем, своего брата. Но крайне сомнительно, чтобы за миловидность можно было уважать, а за некрасивый профиль презирать новорожденного. Не за такие достоинства мы уважаем друг друга; с точки зрения «уважительности» даже очень красивая девушка не может иметь никаких преимуществ перед дуриушкой. Если первая девушка — только красотка и все, а дуриушка — пода-

ющий надежды юный ученый, то восхищаться, возможно, первой будут несравненно больше. УВАЖАТЬ же, я думаю, будут вторую. Почему? Потому что в первой живет, как и в каждом человеке, ее «я». Во второй же мы ощущаем, кроме «я», несомненное наличие личности.

В этом, кажется мне, главное: уважать можно человека с тех пор, как своими мыслями и поступками он заслужил право на звание «ЛИЧНОСТЬ».

Правом на любовь обладает любое «я». Правом на уважение — только ЛИЧНОСТЬ. Любовь каждому отдельному «я» даруется. Уважение же личность должна заслужить. Именно поэтому мы так спокойно проходим мимо множества разных «я», вполне достойных любви, но по непонятным причинам «не выигравших» ее в великой лотерее жизни. Не беремся мы спорить и о случаях, когда пылкая любовь выпадает на долю глупышки или негодяя. Мы разводим руками, и только. Спорить, стоило ли эту девушку или этого юношу полюбить, бесмысленно, а вот как только дело заходит об УВАЖЕНИИ, тут спор и нужен и возможен...

К чему я веду? А вот к чему. Когда мы говорим об УВАЖЕНИИ к «детям вообще», мы занимаемся пустословием. Уважение могут оказаться достойными конкретные Игорь, Сева, Света, Танечка, но не абстрактное понятие «ребенок вообще». Мы уже говорили о малышах в ползунках. Ему, честно говоря, уважение и не нужно. Ему нужны любовь, ласка, нежность, тепло родительских прикосновений. «Уважение» проявляли, бывало, придворные и инфантам своих королей. Инфантам же от того, что перед их колыбельками мели по полу шляпами, было ни тепло, ни холодно.

Ну, а старше, выше? Вне зависимости от возраста каждому растущему человеку должно быть гарантировано гуманное отношение к нему. Эта мысль, кстати, читается и в ряде статей нашей новой Конституции. Больше того, гарантии должны быть по силе обратно пропорциональны возрасту: дурное обращение с ребенком двух лет должно наказываться еще строже, чем негуманность по отношению к подростку.

Но гуманное отношение отнюдь не равно вседозволенности. Гуманное отношение никак не отменяет требовательности и строгости по отношению к подрастающим человечкам.

Год назад мне пришлось быть свидетелем такой невеселой истории. Жили были «сумасшедшая мать» (она говорила это про себя с гордостью) и «очаровательный сын», не позволить которому даже малый пустяк было просто невозможно. «Если я вижу слезки на этих ненаглядных ресничках, я реву, как белуга».

«Ненаглядные реснички» доросли до 2-го класса, и вот в один прекрасный день вместе с другим восьмилеткой «реснички» подожгли одно из отделений почтового ящика — общего ящика на первом этаже. По счастью, «шалуны» были захвачены на месте преступления, а пожар ликвидирован.

На вопросы о том, как был наказан сорванец, мама, нежно улыбаясь, отвечала: «Мы с ним договорились: больше это не повторится! Скажите, а вы сами разве не шалили в детстве?»

Это больше не повторилось. Однако несколько дней спустя тот же милый мальчик с длинными ресничками, добыв из своего личного склада ломаный напильник, острым краем его выцарапал свою подпись «Женя Шеглов» на крышке капота новеньких, только из магазина, «Жигулей» гражданина, приехавшего в гости к Жениному соседу.

Я не знаю, последовала ли и на этот раз уважительная договоренность между мамой и сыном. Знаю только, что папе Жени пришлось заплатить

определенную сумму за ремонт новой машины. Известно также, что на несколько дней Женя отправился к бабушке, потому что пострадавший требовал: «Дайте мне его, я из него котлету сделаю!» Это из «レスничек»-то!

Сосед, к которому приезжал товарищ на «Жигулях», спросил погибшегося из карантина Женя: «Слыши, брат, а зачем все-таки ты это сделал?» «Захотелось!» — однозначно ответил Женя. «Слезки» на его ресничках не дрожали.

Как вам представляется, кто заслуживает наибольшего уважения из этой группы лиц: сам Женя Шеглов, его мама и папа или пострадавший владелец «Жигулей»? Может быть, я человек чрезвычайно отсталый, но к первым троим я ни малейшего уважения не испытываю.

А вот случай, о котором мне рассказали совсем недавно: в деревне, окружённой лесом, потерялась девочка лет шести. Отстала от подружек, собирая землянику, и домой не вернулась.

Пропавшую искали три деревни в течение четырех суток. Когда настали пятые сутки, поиски, как безнадежные, прекратили. Не прекратил их только Коля, сосед родителей девочки, школьник 13 лет. Он и на пятые сутки отправился в лес. И к обеду привел домой девчурку. Он нашел ее под густой елью спящей, здоровой и даже не голодной: все четыре дня она кушала землянику.

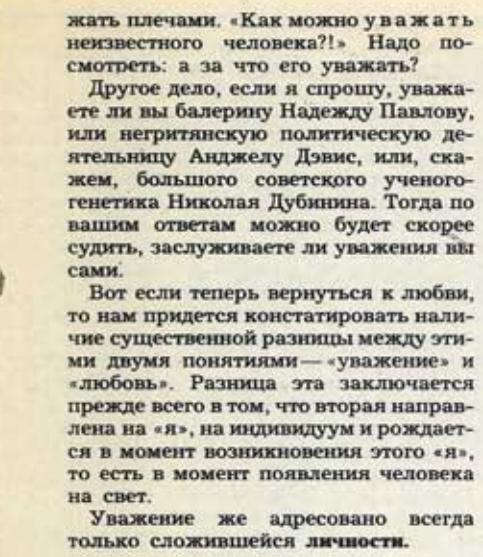
Вот этого тринадцатилетнего мальчугана я уважаю как взрослого, и притом как не всякого взрослого. Само собой, я, при myselfe мне увидеть этого Колю, несомненно, испытал бы всю возможную гамму положительных чувств по отношению к нему: восхищение, желание пожать ему руку, нежность, гордость, но, кроме того, и самое доподлинное уважение. Почему? Потому что для того, чтобы поступить так, как поступил он (матер, к слову говоря, строго запретила ему идти одиноко в лес), надо не просто чтобы тебе чего-то «захотелось». Надо было иметь высокие, благородные чувства любви к людям, сочувствия к их горю, наконец, обладать смелостью (лес там такой, что по нему не побродишь, как по парку: несколько лет назад в том лесу рысь сильно покусала и подрала когтями двух взрослых людей — туристов). А Коля пошел. Его поступок показал всем, что он ЛИЧНОСТЬ. И, я думаю, возраст здесь не очень существенное звено.

Бывают подростки (как вышеупомянутая Наташа С. из Иркутска) — их нельзя удостоить торжественного звания «личность» и в шестнадцать лет. А бывают и тринадцатилетние, вроде Коли, ставшие личностями на три года раньше.

Опасно обзывасть, что, скажем, после 60 лет все заслуживают равного уважения. Но так же опасно обзывать равнouважаемыми всех детей, всех подростков, молодежь вообще. Опасно для них самих. И поэтому нужно уже восьмилетнему, даже семилетнему малышу приучать к длинному и трудному слову «ответственность». Больше того, надо, чтобы в пять лет ребенок точно знал, что нужно и можно делать и чего делать НЕЛЬЗЯ. Ему потом будет легче стать личностью и заслужить уважение окружающих.

Я не вижу никаких оснований уважать ни Тамару Дроздову, которая опустила руки в борьбе за своего товарища, ни «эстета» из Челябинска, «упивающегося» своим отвратительным существованием, ни Наташу С., пропивающую свои лучшие юношеские годы. Но мне Наташу бесконечно жалко: ее детство исковеркал отец. Что сделать, чтобы Наташа С. становилась все меньше и меньше? Естественно, надо крепко карать таких отцов. А нужно ли при этом приговаривать, что, карая отца-пьяницу, мы уважаем пьяницу-дочку?

Думаю, нет.



ТРИДЦЫ ДВА.
Фото
Зиновия
ШЕГЕЛЬМАНА
(г. Могилев).



ДЕСЯТИКЛАССНИКИ.
Фото
Бориса
ЧУГУНОВА
(г. Куйбышев).

НА ЭТЮДАХ.
Фото
Владимира
ФЕДОРОВА
(г. Киев).

голубая насыпь

Что это были за цветы! Большие никогда и нигде я их не увижу. То есть будет нечто похожее, приблизительное, напоминающее, но таких голубых и огромных и в таком изобилии — нет, никогда. Железнодорожная насыпь была голубой. Кажется, протяни руку — и коснешься их, влажных от дождя, теплых от солнца, прохладно-свежих от ветра, дующего откуда-то с полей.

Ника знает: когда у поля нет конца, это называется степью, когда нет конца у пруда, это называется морем.

Поезд стоит уже давно, но все боятся, что он вот-вот тронется, поэтому никто не выходит из

битком набитых, душных вагонов наравне голубых цветов. Так объяснила мама.

Ника лежит труду и локтями на оконной раме, руки по локоть в паровозной саже. Ника разговаривает с голубыми цветами. Она рассказывает, что они с мамой едут в эвакуацию — это такой город, где нет войны, а папу они оставили, потому что папа на войне нужен, а они с мамой не нужны. Они с мамой не умеют стрелять, а на войне надо стрелять и не бояться бомб, и там надо отдать свою жизнь за Родину, а когда папа отдаст свою жизнь за Родину, он приедет в эвакуацию и заберет их с мамой домой.

— Ма-а... Ну, ма, же!..

— Отстань, не видишь — маме некогда. Вот я тебе выпачкаюсь! Я тебе повторю на сквозняке...

Ведь не бывает же таких цветов — почему ты не смотришь? Или я, та Ника, вижу их другими? Другими, чем ты, чем все взрослые? Впрочем, разве тебе до цветов! И не до меня тебе — жива я, здорова, и ну и ладно. Так уж получилось — война. Скоро мы почти не будем видеться — из детского сада меня будет забирать квартирная хозяйка, кормить ужином — меня, сына Кольку и бабку Ксению. Чечевичная каша, или суп из селедочных голов, или картофельные дранки, чудо из чудес.

После ужина бабка Ксения будет мне рассказывать про своего бога, научит непонятным, таинственным словам, которыми надо разговаривать с богом, — до сих пор не понимаю их значения и до сих пор помню. Я буду выпаливать их перед сном, как пароль, а потом уже по-своему рассказывать, что случилось за день. Богу бабки Ксении, а не тебе. Советоваться с ним, что-либо клянчить.

Ты будешь возвращаться с завода, когда я уже сплю, и уходить, когда я еще сплю. Только ночью сквозь сон я буду чувствовать рядом твое тепло. Даже по воскресеньям ты или в поле подщепного совхоза, или дома над кастрюлями, корытами, хозяйствской зингеровской машинкой.

— Потом, Ника, потом — видишь, сколько дел у мамы. Ты уже большая, должна понимать. Иди, Ника...

Я отыкаю от тебя. «Вот погоди, кончится война...» Мы живем будущим. Когда кончится война, я снова увижу папу, и мне купят мороженое, и наш поезд на обратном пути остановится у насыпи с голубыми цветами, будет стоять долго-долго, и мы наравне большие-пребольшие букеты...

Перед сном я прошу бога бабки Ксении, чтоб завтра утром кончилась война, и тогда все сбудется.

Мы вернемся осенью сорок третьего — какие осенью цветы? На Казанском вокзале ты купишь мне мороженое. Папы уже не будет. А ты...

После работы — занятия на вечернем отделении института, ты будешь наверстывать, наверстывать эти годы. Дерзкая мысль — завершить диссертацию отца. И опять я почти не буду тебя видеть.

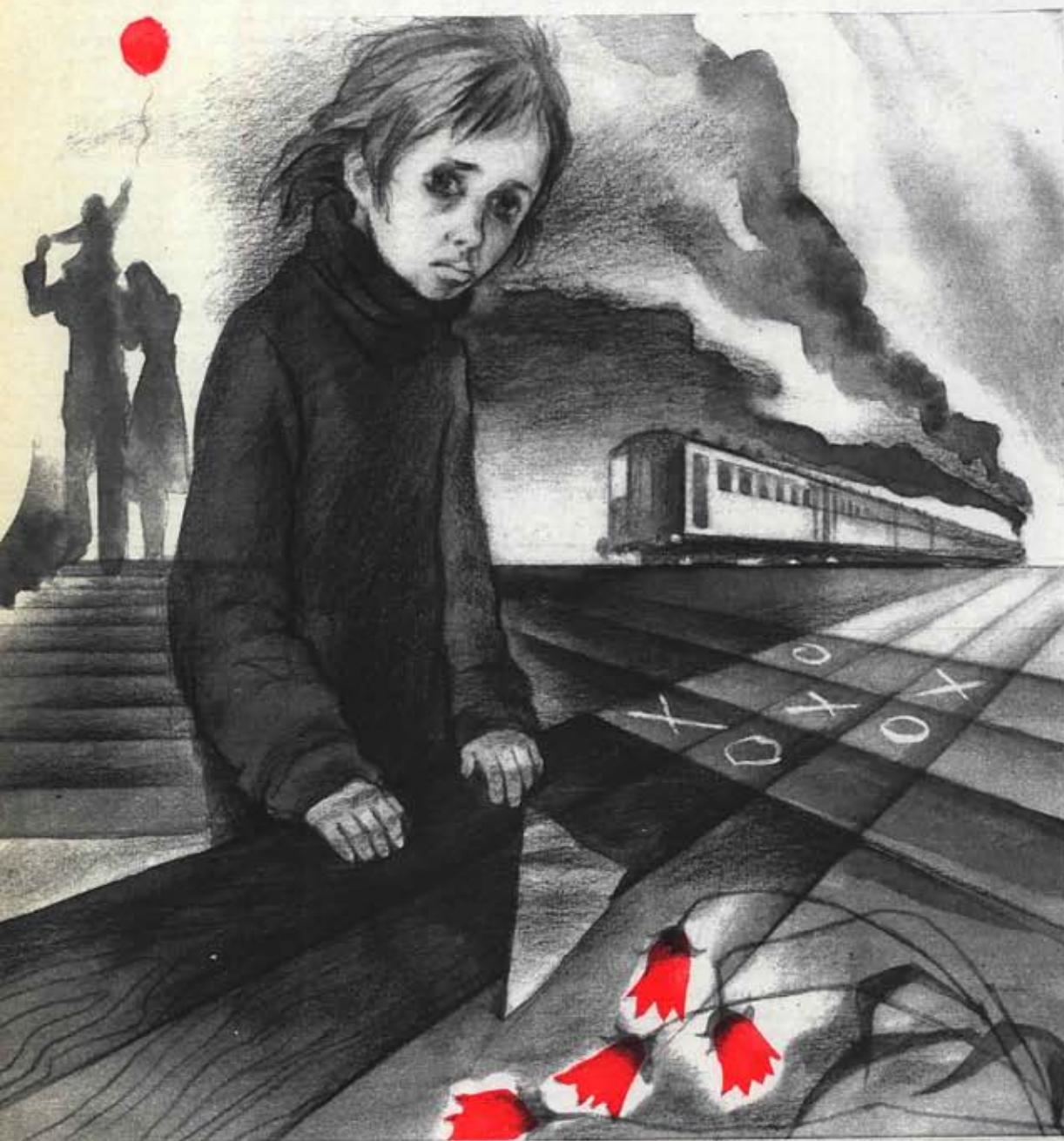
Во имя чего? Институт ты, правда, закончишь, но аспирантура как-то сама собой отпадет, потому что выяснится, что папину тему уже кто-то где-то успешно разработал и завершил.

И ты сломаешься, будешь сидеть вечерами дома, не зная, куда себя деть, — ты уже отвыкла от дома, я от тебя, и мы будем только мешать друг другу.

Потом спохватишься, что тебе уже за тридцать, и коли не получилось с аспирантурой и наукой, надо самоутвердиться иначе, и кинешься искать мужа — иступленно, как все, что ты когда-либо делала. В комнате нашей появятся коробочки, флакончики, отрезы, запорхают имена всяких там Леокадий и Эмилей из парикмахерской, соседи станут говорить, что ты прямо-таки невероятно похорошела, а в тебя и вправду будто бес вселился. Такой худой ты не была даже в юности, а худоба тебе идет. Подведененные глаза кажутся мрачно-гигантскими, как у цыганки-гадалки, прекрасный открытый лоб, легкие тени на впадинах скул, ярко-вишневый мазок губ, и вся ты — яркая, гибкая, узкая в том своем узком вишневом платье с вышивкой, в котором и шагу-то ступить невозможно (я, во всяком случае, не могла, когда примерила), а ты в нем летала, скользила, закидывала ногу на ногу, будто родилась в этом невероятно узком наряде, будто он был твоей второй кожей.

Такой ты мне запомнишься, девчонки будут говорить: «Какая у тебя красивая мама!» — и ты в конце концов отыщешь себе мужа в том послевоенном безмужье, причем мужа вполне приличного — доброго, внимательного, непьющего вдовца, даже внешне приятного, даже работающего каким-то начальником. Мы с ним будем решать задачки про рыболовов и пешеходов и вообще отлично поладим, и когда ты станешь вечерами уединяться от нас обоих — то к каким-то подругам, то заделаешься вдруг заядлой театралкой, то общественницей, то просто будешь задерживаться на работе, по поводу и без повода, лишь бы не домой, — я буду осуждать тебя и жалеть отчима.

И только через много лет пойму, что не нужна тебе была ни аспирантура, ни кипучая деятельность, ни самый что ни на есть расхорощий муж. Что нужен тебе был только Аркадий Золотарев, что состоять его женой, его «половиной» на земле было твоим предназначением, призванием в самом высоком смысле этого слова, потому что у больших ученых (отцу прочили блестящее будущее) должны быть именно такие жены. И кто знает, сколько великих человечество получило лишь благодаря этим самым «половинам». Только много лет спустя я пойму, что его гибель явилась для тебя не просто



потерей мужа и любимого человека — это была потеря призыва, смысла и цели жизни, и здесь причина твоих слепых беспорядочных метаний. От работы и работе, от мужчины к мужчине, от роли к роли. Корабль без компаса...

Ты перенграешься десятки ролей, неудавшихся, не твоих, и когда, наконец, вспомнишь о роли «мать» и решишь, что вот твое «то», единственное, я буду уже почти что в другом измерении, за несколько тысяч дней от голубой насыпи. Дней без тебя.

Меня будет шокировать этот внезапный шквал родительских чувств, все твои «моя маленькая», «надень кофточку», твои поцелуи и прочие «нежности». Ты покажешься мне смешной и нелепой, как старая дева с оброчками и ужимками школьницы, мне, Веронике Золотаревой, печатающей в городской газете свои вдохновенные опусы на морально-этическую тему. Знатоку человеческих душ. Твоей дочери.

И потом, еще через несколько тысяч дней, сама в голодной запоздалой тоске по твоим «моя маленькая» и «надень кофточку», мучимая стыдом за тупую черствость той юной Вероники, я буду трусливо откладывать встречу с тобой, должностную наконец-то соединить нас, мать и дочь. А пока что послыши тебе в Керчь открытки к праздникам.

«Дорогая мамочка, поздравляю тебя...»
Я всегда не любила и не умела писать письма. В Керчь ты переедешь после моего замужества. Там родился и вырос Аркадий Золотарев. Там вы познакомились на пляже.

Он подошел и сказал: «Девушка, вы, по-моему, скорее».

Тебе в этой фразе чудилось нечто символическое. Телеграмма из Керчи меня не застанет — туристская поездка по Италии. Посовещавшись, меня решат не извещать и не расстраивать — все равно ведь ничего не изменишь.

Я опять опоздаю к тебе. В последний раз опоздаю к тебе, мама!

— А у меня черепаха, — хвастает Ника голубым цветам. — Она домики надевает. У нее во-о сколько домиков. Пальто-домик, платье-домик...

Цветы удивленно покачиваются на неправдоподобно длинных стеблях.

— Ой, мама, мамочка, уже поехали...

Сейчас мама встанет, чтобы закрыть окно, — она боится за Никины уши. С ее колен, звякнув, упадут ножницы, и пока она нагнетется их поднять — всего пять секунд, Ника еще будет видеть летящую мимо голубизну.

Она даже не скрывала, что потому и гнется ночами над игрушками, чтоб заманить нас к себе.

«Они хотят научиться любить и понимать серьезную музыку, — говорила Фасоля. — А такое желание достойно вознаграждения. Я уверена — наступит день, когда они откажутся от этих безделушек и скажут: «Дорогая Антонина Степановна...»

Но такой день все не наступал — кому была охота отказываться от «фасолят», когда за каждого зайца можно было получить коробку цветных карандашей, несколько стаканов семечек или кататься в парке на карусели, пока не затошниш?

Мы белые снежиночки,
Спустились сюда,
Летим мы, как пушкиночки.

Холодные всегда... — тянет класс под аккомпанемент Фасолиной гитары. Мы с Люсью по очереди мусолим под партой жмы.

— Золотарева, я все вижу. Ну-ка, иди сюда. И ты, Новикова. Сейчас я отстучу мелодию. Тс-с, слушают все...

Тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук...

— Ну, Золотарева?

Молчу, изображая интенсивную работу мысли. Люсью, страдальчески морщаась, просится в туалет. Класс хохочет.

— Тс-с... Ладно, Новикова, иди. Ну, Золотарева?

— «Катюша», — наобум говорю я.

Ужасно хочется отпроситься вслед за Люсью, но это, разумеется, нереально.

— Ничего похожего на «Катюшу». Кто угадал?

— «Где ж вы, очи карие? «Варяг»? — гадлит класс.

— При чем тут «Варяг»? Да вы послушайте...

Тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук...

Фасоля

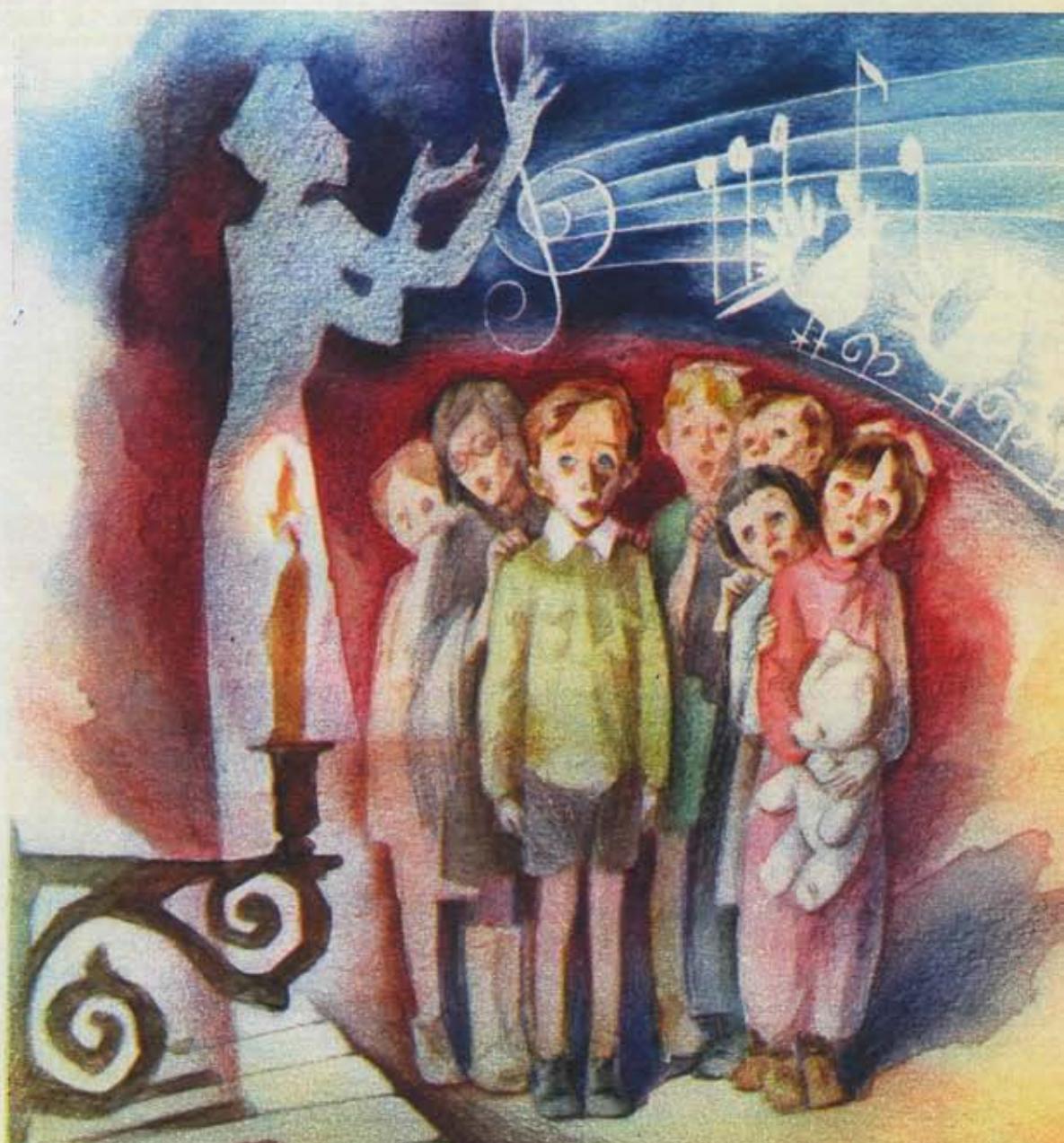
О сень сорок пятого. Наш первый «Б». Латанный, заштопанный, перелицованный, с холщовыми и брезентовыми сумками (редко у кого портфельчик), а в сумках чего только нет! Гильзы от патронов, а то и настоящие патроны, трофейные губные гармошки, заводные лягушки, куски подсолнечного и макового жмыха — лучшего лакомства нашего детства.

Я и Люська по очереди лезем под парту мусолить огромный, твердый, как камень, кусице, выменянный только что на мой альбом для рисования. Учителяница пения Фасоля (то ли от фа-соли-ля, то ли оттого, что волосы надо лбом она укладывает тугой белесой фасолиной) аккомпанирует на гитаре. Пианино в школе нет, а гитара хоть и считается мещанским инструментом, зато гораздо легче барабана, с которым Фасоля не справляется, потому что она перенесла блокаду и очень ослабела.

Я не ленинградка и представляю себе блокаду чем-то вроде непосильно тяжелой бетонной плиты, которую, согнувшись, несет на себе наша Фасоля.

Говорят, что Фасоля теперь немножко не в себе. Все свободное время она мастерит из разноцветных лоскутов и обрезков меха забавные куколки, фигурки птиц и зверей, но не на продажу (говорят, что тогда Фасоля могла бы как сыр в масле кататься). Это бы все поняли. И все бы поняли, если бы она просто дарила ребятам своих зверушек. Продавала — для выгоды, дарила — из-за доброты. Все было бы понятно. Но Фасоля не была ни доброй, ни кириной, она была не в себе — это было ясней ясного.

Дважды в неделю она устраивала у себя дома сольный концерт. Надевала черное узкое платье с глубоким вырезом, туфли — на высоких каблуках, тщательно причесывалась, зажигала на стареньком пианино свечи и по два-три часа играла Шопена, Чайковского, Бетховена, Моцарта... Те взрослые, кому случайно удалось ее послушать, говорили, что играет она замечательно, однако взрослых она никогда не приглашала на эти концерты. Только нас, ребят, хотя, понятно, что, уж конечно, не Бетховен и Гайди привлекали первоклашечек, а эти самые зверюшки, которые Фасоля дарила каждому после концерта.



Мы молчим.

— «Николай, давай закурим», — вдруг изрекает с задней парты второгодник Валька Седых.

— В чем дело, Седых?

— «Спички есть, бумаги купим», — не унимается Валька.

Мы гоготаем.

— Прекрати безобразничать, Седых.

— Так то ж вы отстучали, — обиженно басит Валька, — «Николай, давай закурим!»

Класс веселится.

— Ох, ну конечно же... Да перестаньте вы, Валя прав. Верно, есть такие слова на музыку «Барышни». Валя угадал правильно. Я отстучала русский народный танец «Барышня». Молодец, Седых!

Когда Фасоля радуется, то становится какой-то прозрачно-розовой — так бывает, когда ладонь приблизишь к лампе. Смотрит Фасоля на второгодника Вальку и вся светится. А второгодник Валька глядит на нее, а лицо его — эдакий непробиваемый для педагогов кремень — постепенно оживает, расплывается в улыбке до ушей. И, звонко щелкнув по лбу костяшками пальцев соседа своего Секачева, чтоб кончал смеяться, Валька этими же костяшками сам что-то барабанит по парте.

— Сед-ы-ых, — благоговейно шепчет Фасоля. — Да это же... Да ты же...

И тоже барабанит нечто, понятное лишь Вальке. Валька отвечает ей. Опять Фасоля... Мы недоуменно переглядываемся.

Мелодия из «Севильского». Завтра, много лет тому назад, Фасоля сыграет ее снова, уже на своем пианино.

— Вот, ребята, что отстукивали мы вчера с Валей, верно, Валя?

И гордо кивает второгодник Седых, и впервые я буду слушать Фасолю. Не слышать, а слушать. Потому что обидно: уж если второгодник Седых что-то понимает...

Ухвачусь за звуковую нить и буду распутывать, распутывать, и неожиданно нить пойдет мотаться сама, подчинит, завертит, закружит...

Я еще буду сопротивляться, раздаваясь между привычно-обыденным «здесь» и ошеломляющим, новым «там». «Здесь» — это сижу на стуле нога на ногу, полуботинок навырост покачивается на большом пальце, рядом простуженный Кротов сопит, покашливает, чудачка Фасоля смешно размахивает над клавишами руками и закатывает глаза.

«Там» нет ни грязного полуботинка, ни простуженного Кротова, ни нелепых Фасолинных гримас, ни меня самой. Просто это «там», его никак не назовешь, не объяснишь. Что-то поет, дрожит, ликует, страдает, плачет, взлетает, падает, и это «что-то» — я сама.

Через пару вечеров я окончательно сдамся. Буду считать часы от концерта до концерта, хоть и по-прежнему посмеиваюсь над Фасолей. Тайная страсть к ее концертам будет представляться мне чем-то постыдно-нелепым, я буду из всех сил стараться, чтоб ребята ее не обнаружили и не подняли меня на смех. И потом очень долго, уже когда Фасоля исчезнет, буду связывать музыку с нею и только с нею. Даже по радио слушать лишь то знакомое, что играла нам она.

Наверное, она действительно была замечательной пианисткой.

И, наверное, не одна я «заболела» ее концертами. Может быть, многие.

Но никто никогда в этом не признается. По-прежнему мы будем уносить в карманах ее мышей и зайцев. И Фасоля будет думать...

Так я никогда и не узнаю, что она обо всем этом думала. Скоро, много лет назад, Фасоля исчезнет. Отъщется где-то какой-то там дальний родственник, и когда мы вернемся в школу после каникул, к нам придет новый учитель пения. С баяном.

Пианино Фасоля продаст Алкиной матери, и мы все будем на нем учиться играть. Алкина мать — «Полонез» Огинского, Алка — «Легко на сердце» одной рукой, а я — вальс «Березка» одним пальцем.

Прилечь на землю хочется,
Но ветерок-злодей
Все гонит, подгоняет нас,
И мы летим быстрей...

Люська так на урок и не вернулась. В окно вижу ее — играет с какой-то девчонкой в «нагоняй». Мучаюсь завистью, ревностью и вгрызаюсь зубами в жмы. Хоть так отомщу, ничегошеньки не оставлю...

ЛЮСЬКА

О т луга поднимаются жаркий душистый пар, будто от только что заваренного чая. Прошел долгий дождь — может, в несколько дней и ночей, и теперь неистовое ионинское солнце ширит вовсю. Мои носки, сандалии давно промокли, подол платья хоть выжмай. Лишнут к ногам длинные стебли травы, ромашек, колокольчиков, сплетаются, мешают идти.

А иду я к плетню. Кто-то отхватил от луга небольшой участок, оградил плетнем, и уже взошел на грядке зеленый лучок. А в руке у меня ломоть хлеба, смоченный постным маслом, посыпанный крупицами соли. Если к этому еще несколько перьев лука — лакомство будет сказочное.

Я иду навстречу своему счастью. Не луку, конечно, лук — ерунда. Сейчас я познакомлюсь с Люськой — и прощай покой. Понесутся дни сладостные, мучительные, с переживаниями и острыми ощущениями, жгучими — аж слезы из глаз. Этот самый лучок, перец, горчица и еще бог знает что — такая она, Люська. Есть стихи:

Вот тебе пирожок сладкий
С маком и корицей,
С перцем и горчицей...

Вот что такое Люська. Сейчас получу я свой сладкий пирожок, до Люськи несколько шагов. Сидит на плетне — одной босой ногой зацепилась за прутья, другой просто болтает — неимоверно грязной. с налипшими на подошву комьями глины, так

что мне сначала показалось, что Люська в коричневых туфлях.

Солнечный удар, нокаут, любовь с первого взгляда. Разве может быть на свете другая такая девочка? Волосы у Люськи перепутаны, как сено в стогу, вилами без ручки торчит в них обломок гребенки. Платы на Люське никакого, только лиловые штаны, закатанные, как трусы. Худое, гибкое, будто у ящерицы, тельце отливает чернотой, и не поймешь, где грязь, где загар. Но самое замечательное у Люськи — глаза.

Только что они были закрыты — Люська, казалась, дремала, греясь на солнышке, потом приоткрылись, чиркнули в них узкие щелки — Люська почувствовала мое приближение.

Зафиксировали и тут же погасли, тусклые, равнодушные. Гляжу в них, будто с улицы в окна. Но вот чудо — вдруг вспыхнули, брызнули жарким ласковым светом: скорей сюда, ко мне! Я тебе ужасно рада, я тебя ужасно люблю!..

Неужели взаимность? Дурею от счастья. Неужели это чудо протягивает мне руку и можно коснуться сплетенного из разноцветных проволок кольца на мизинце чудо-девочки?

Дотрагиваюсь до кольца, Люська улыбается. Зуб — провал, два зуба — опять провал. Будто черные и белые клавиши.

Благоговейно пожимаю Люськины пальцы. Колечко из проволок царапает ладонь.

— Дай куснуть, — сказала Люська.

Зубы-клавиши вонзились в хлеб, влажно скользнули по коже — я едва успела отдернуть руку с



зажатым в пальцах огрызком со следами Люських зубов.

— Я тебя знаю,— говорит Люська, с трудом двигая набитым ртом.— Ты из большого дома, у тебя отец погиб, и ты вчера с наволкой плавала...

— Ну! — счастливо киваю, машинально проглатывая огрызок. Я сыта любовью.

— На наволке я бы тоже,— говорит Люська.— Только моя с дыркой.

— Я тебе дам! — кричу я.— У нас их полно!

— Давай,— кивает Люська.— Пойдем к тебе, и на пруд. И хлеба еще захвати, с сольцем. Угу!

Я сдеру с подушки новеньющую накрахмаленную наволочку— первое мое преступление ради Люськи. А сколько их будет!

Отвлекать билетершу, пока Люська прорывается ни какую-нибудь «Даму с камелиями», отвлекать сторожа, пока Люська ворует колхозную смородину, отвлекать учительницу, пока Люська шпаргали... Я попадалась, Люська — никогда. Я считалась плохой, Люська — хорошей. Меня ругали, наказывали, но я была счастлива. Я была нужна Люське!

Однажды у мамы пропал новенький пуховый берет. Через несколько дней нам на улице попалась Люська— она щеголяла в мамином берете.

Я ревела, что она ни при чем, что я сама подарила ей берет, прямо силой навязала, а зачем — сама не знаю, наверное, такая уж я родилась гадкая, и пусть мама хоть год не пускает гулять, только не запрещает дружить с Люськой.

Тогда мама сказала, что пусть уж Люська извинит, но берет нужен ей самой, так что она его забирает, но, поскольку на улице холодно и вообще получилось нехорошо, пусть уж Люська наденет ее платочек с розами и возьмет его насовсем, а со мной она дома поговорит.

Люська ласково щурилась на меня из-под платка с розами, платок ей очень шел. Я готова была стойко вынести любое наказание, но мама молча вошла в комнату, швырнула на диван пальто, злополучный берет и, притянув меня к себе, спросила с горьким недоумением:

— За что ты ее так любишь?

Конечно, я должна была любить только тебя, мама.

Я не знала, почему люблю Люську.

Пройдут годы, и я буду видеть в твоих глазах все тот же недоуменный, горький вопрос: «За что ты его так любишь?»

И опять не сумею ответить.

Убедившись, что желающих пробовать не нашлось, Мания потащила велосипед за ворота. Оглядываясь и угрюмо сопя,— как зверь добычу. Шефы сконфуженно развели руками и поспешили ретироваться в столь трудной педагогической ситуации.

— Вот кабы вместе...— проходила сквозь зубы Люська.— Как бы ей да-ать!

Но сознательные наши ребята Люську не поддержали.

— А иу ее! У нее судьба трудная, пусть себе...

— Жадина-говядина! Жадина-говядина! — верещали менее сознательные девчонки.

Несколько дней мы будем со злорадством наблюдать за бесплодными попытками Мани укротить свой велосипед. Он будет брыкаться, сбрасывать ее, как норовистый конь, а она, длинная, илепая, вся в синяках и ссадинах, будет снова и снова карабкаться на него и снова хрусткую (ведь одни кости) шмякаться оземь.

Первыми не выдержат мальчишки. Выудят Манию, мокрую, грязную, оглушенную, из наполненной талой водой канавы, выпрявят погнутый руль, втащат на велосипед и примутся учить кататься.

Мания будет неподвижно торчать в седле, прямо, словно аршин проглотила, словно Дон Кихот на своем Россинянте, а мальчишки вокруг, шумные, запыхавшиеся, веселые Санчио-оруженосцы, будут катать ее по дороге, со всех сторон поддерживая велосипед, не давая упасть.

— Да не сиди ты, как припаянная, педалями верти!.. За руль не держатся, его самой надо держать. Так, так... Да поворачивай ты, тюрь!.. Поворачивай...

А еще через несколько дней, много лет тому назад, наступит июнь, и мне повстречается Манин велосипед на уже просохшей дороге. Она будет ехать сама, отчаянно трясясь звонком, а сзади, на багажнике, свесив ноги, будет колыхаться один из «ашников».

Я покажу Мане языки, а она покатит мимо, невидящие блестя глазами и зубами в младенческой первой своей улыбке.

Велосипед

Девочку звали Маней. Была она неестественно белокожей, вытянувшейся в длину, как картофельный росток. Казалось, дунь — закачается, согнется пополам, но мы уже знали: это впечатление, ох, как обманчиво! Дралась Мания по-страшному, всерьез, так у нас даже мальчишки не дрались. Нам объясняли, что Мания два года пробыла в немецком концлагере, где, чтобы выжить, детям приходилось драться за каждую крошку хлеба. Вот она и получилась такая, это у нее душевная травма, и чтоб мы это понимали и имели к Мане особый подход.

Еще была у Мани одна странность — она никогда не улыбалась. Даже когда «Волту-Волту» показывали, ни разу не улыбнулась. Вообще с середини встала и ушла. Такая она была, Мания. Вдруг ни с того ни сего, когда игра и всем весело, — возьмет да уйдет. И на уроках — то ничего, пишет, считает, а то как замолчит, ничего с ней не сделаешь, учителям остается только не обращать внимания.

По возрасту Мане пора было в третий, а ее посадили в первый, и мы радовались, что в «А», а не в наш «Б», потому что лупила.

В майский погожий день сорок шестого, в годовщину Дня Победы, шефы Мани привезли ей в подарок велосипед. Над Манией шефствовал целый завод. Однажды про нее поместили статью в городской газете — что она разучилась улыбаться, что столько пережила в фашистском плена, что Мания мать осталась на всю жизнь инвалидом и находится в больнице. С тех пор и появились шефы.

Посреди школьного двора стояла Мания, вцепившись одной рукой в руль, другой в сиденье, молчала и дико озиралась. Хоть бы спасибо сказала! Велосипед... Настоящий, не какой-то там подростковый — чудо чудное, диво дивное сверкало на майском солнышке всеми своими хромированными деталями. Звонок, кармашек с ключами, фонарик — с ума сойти!

Я даже дышать боялась, стискивая локоть стоящей рядом Люськи. А Люську мою прямо-таки перекосило от зависти. Вырвав руку, она мелкими лисьими шажками подкралась к шефам и, заглядывая им в глаза, промурлыкала:

— Дядечка-а... А нам можно покататься?

На лицах столпившихся вокруг ребят был тот же немой отчаянный вопрос. Шефы, два паренька с модно подбитыми чубами, растираинно переглянулись.

— В общем-то... Что тут такого? Мания вам разрешит, конечно... А, Маня, дашь ребятам прокатиться?

Даст она, как же! Мания молчала, но лицо ее говорило выразительнее всяких слов — пусть-ка кто попробует коснуться ее велосипеда!



Валерий ЕВСЕЕВ.
Фото Альберта ЛЕХМУСА.
Специальные
корреспонденты «Смены».

На прием к мэру города мы опоздали. Подвел общественный транспорт: слишком долго простояли на остановке автобуса. Ситуация эта, сама по себе банальная, вряд ли заслуживала бы внимания, если бы не одно обстоятельство. Всего лишь несколько лет назад тындинцы ни за что не поверили бы, что подобная исто-

ЧЕРЕЗ ЧЕТЫРЕ ЧАСА —
В ИРКУТСКЕ.



На трибуну XVIII съезда ВЛКСМ

НА ПЕРЕКРЕСТКЕ



рия может приключиться здесь, в их небольшом, мало кому известном поселке. Какой там мэр города, какой общественный транспорт, какая автобусная остановка! Да и корреспонденты не баловали Тынду своим вниманием.

Хотя стоит сказать, что поселок Тындинский не какая-нибудь забытая богом древняя сибирская деревушка. У него интересная и беспокойная судьба.

В конце 20-х годов, когда от станции Большой Невер, что на Транссибирской железнодорожной магистрали, началась прокладка 1200-километрового автомобильного тракта на север, строителям этой дороги и золотоискателям, тут же устремившимся по новому пути, пролегающему сквозь труднопроходи-

ТАК НАЧИНАЛСЯ ГОРОД.
ОСТРОСЛОВЫ НАЗВАЛИ ЭТО
МЕСТО УЛИЦЕЙ ДИОГЕНА.

ТЫНДИНСКИЕ МОДНИЦЫ.

Зеи, у самой границы страны влиться в набирающий силы Амур, хотя название этой реки — Тында — переводится с звенкского отнюдь не приветливо, означая глухое, темное, мрачное место, уголок этот был действительно хороший. Среди дикости окрестных мест, щетинящиеся чахлым редколесьем, он выделялся зеленью лиственниц, белыми ста-

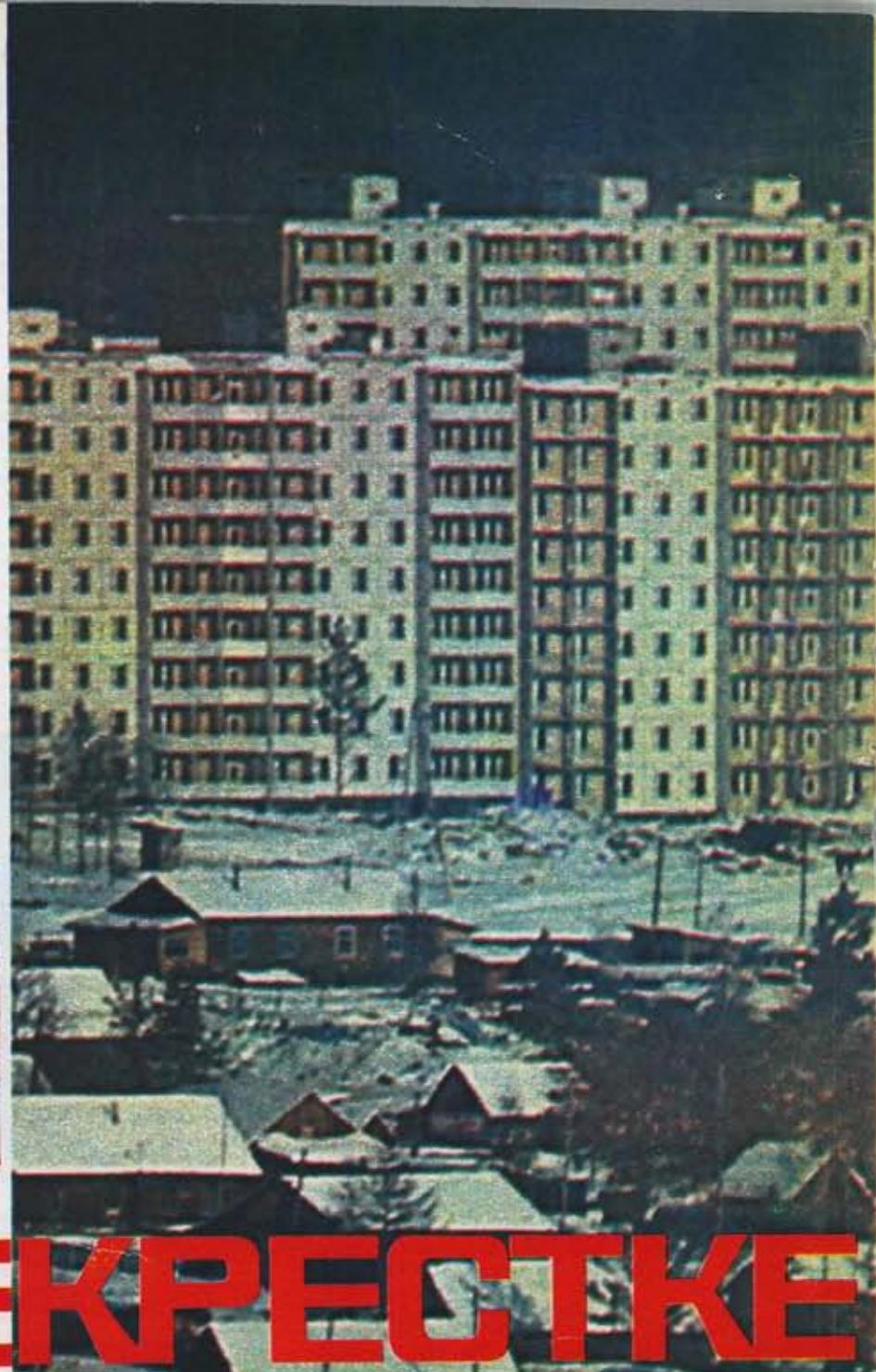
Более 1150 городов появилось на нашей земле за годы Советской власти. История каждого из них — это вехи биографии страны, Ленинского комсомола.

В новой рубрике — «Молодые города», открываемой наами в год XVIII съезда ВЛКСМ, — мы будем рассказывать о том, как молодежь осваивает новые территории, как рождаются города, об их проблемах и перспективах.

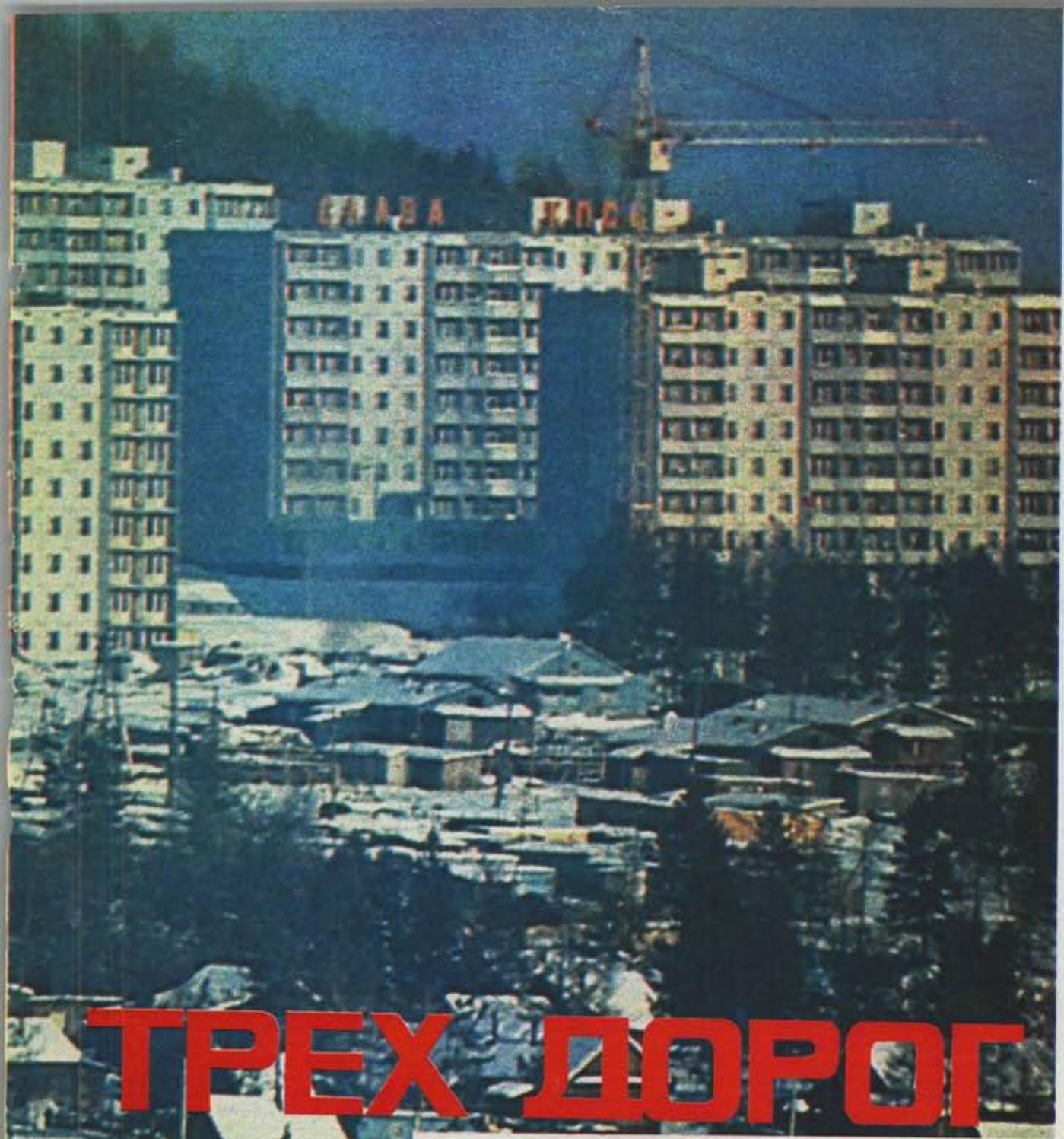
Первый рассказ — о столице БАМа Тынде.

ные мари, к заветному Алдану, приглянулось местечко на пересечении тракта с речкой по имени Тында. Казалось, природа специально предоставила им, преодолевшим более двухсот нелегких километров, этот уголок для отдыха. И хотя название встреченной речушки, зимой промерзающей до дна, а летом струящей свои не успевающие прогреться воды на восток в такой же холодный Гилюй, чтобы потом, уже под именем

И ДНЕМ И НОЧЬЮ ГУДИТ
МОТОРАМИ АЯМ.



МОНТАЖНИК МИХАИЛ ХОРОШИЛОВ
ПРИЕХАЛ НА БАМ ИЗ КАЗАХСТАНА.

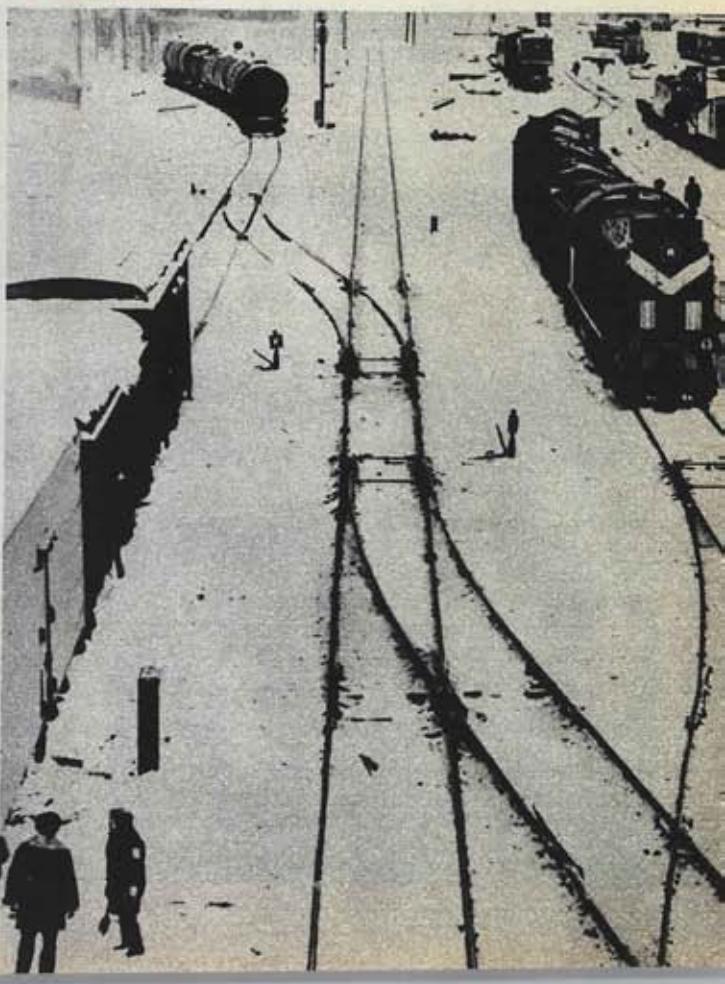
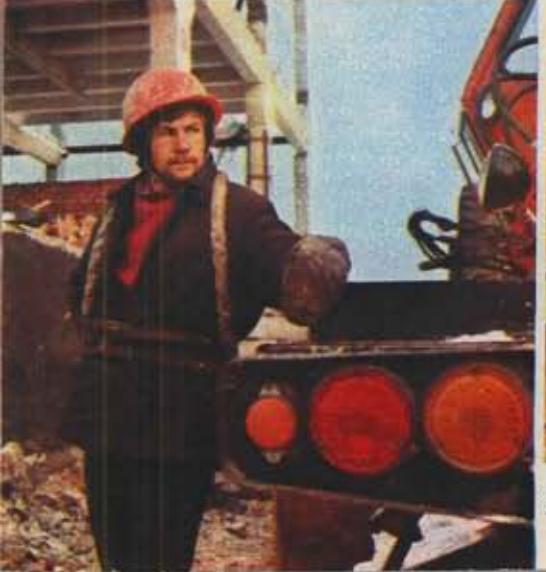


ТРЕХ ДОРОГ

ГАЛЯ ЗАМЯТИНА—
ДИСПЕТЧЕР АВТОБАЗЫ.



«СТОЛИЧНЫЕ» ДОМА—
ГОРДОСТЬ СЕГОДНЯШНЕЙ ТЫНДЫ.



ями берез, шапками раскидистых сосен. Спрятавшись в котловине между окружающими его сопками—отрогами Олекминского Становика, он удивлял своим успокаивающим безветрием.

Первые бревенчатые домики в поселке, тут же названном по имени реки Тындинским, появились в 1929 году. Рискуя поставить устроителей сегодняшней Тынды в неловкое положение, все же не могу замолчать тот факт, что тогда, в конце 20-х годов, одновременно с первыми домами на месте будущего поселка появились красный уголок и баня. Одновременно... Вероятно, в ту пору еще не существовало такого сурового понятия, как СНИП, что означает «строительные нормы и правила», иначе бы, думаю, первые тындинцы смогли бы попариться в баньке не раньше, чем их численность перевалила бы за некую трехзначную цифру.

Видно, широкого, истинно сибирского размаха были основатели поселка: своих жителей мало, а тут моялся-парясь любой приезжий-проезжий, а потом, пожалуйста, в красный уголок газеты и журналы почтить. Кто сейчас скажет,—возможно, и этот сервис сыграл свою роль: ведь оседали здесь навсегда многие, кто к золотым приискам стремился. Так что, может быть, банька не просто широкий жест, а проявление дальновидности?

В 30-е годы разместился в поселке новый госпромхоз, ведающий заготовкой пушнины, мяса диких животных, грибов, ягод. Однако с окончанием строительства автодороги, гордо названной Амуро-Якутской магистралью, и до сего дня еще сохраняющей значение основной транспортной артерии Южной Якутии, самыми популярными людьми в Тындинском стали те, кто так или иначе был связан с мотором, с техникой,—шофера, автомеханики, дорожники.

АЯМ жил напряженной, полнокровной жизнью—день и ночь по нему шли грузы для развивающейся Якутской республики. И все чаще вместо скрипящих подвод по щебеночному тракту, грохоча, проносились автомобили. Сидевшие за баранками бывалые люди заполняли придорожную столовую. Она и сегодня стоит у АЯМа, явно проигрывая и интерьером и разнообразием меню своим младшим собратьям—пунктам общепита строителей БАМа, украшен-

ЗДЕСЬ БУДЕТ КРУПНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ УЗЕЛ.

ным чеканкой и звонкими именами «Эльга», «Сокольники», «Лесная сказка».

Ну, а тогда эта столовая не имела конкурентов не только в поселке, но и на многие километры вокруг. И думаю, что проезжим шоферам была она не просто харчевней, а клубом, где обменивались они новостями, рассказывали об увиденном и случившемся с ними в пути. Раньше чем из газет узнавали здесь жадные до всего нового тындинцы о переменах, пришедших в некогда безлюдный край. О том, что появились на окрестных тропах караваны навьюченных лошадей, сопровождаемые нездешними людьми в диковинных накомарниках. Говорили, что ищут они подземные богатства, и не только золото, но и оставлявшие раньше всех спокойными запасы угля, олова, слюды... Поговаривали и о том, что скоро в этих местах начнется строительство железной дороги. Тындинцы с солидной невозмутимостью воспринимали новости, внутренне неспешно и основательно готовясь к переменам. А над их головами кружили гидросамолеты, ведущие съемку местности, во многом еще остававшейся белым пятном на географических картах.

Поселок к этому времени основательно разросся, заняв довольно обширное пространство по обе стороны АЯМа—строились беспорядочно, но с размахом. Лишь позже местным властям удалось обуздить самоиздательскую строительную стихию, разгранив поселок на более менее правильные кварталы. Ходишь сейчас по старой Тынде и с улыбкой вспоминаешь американские стихи Маяковского: «На север с юга идут авеню, на запад с востока—стрихи». В Тындинском тоже своя особенность: вдоль АЯМа идут улицы, попрек—переулки. Пройдешь, например, по Гаражному переулку и прочитаешь название пересекаемых улиц: 2-я пятилетки, Таежная, Северная. И главная улица, конечно, Аяновская. Но скоро по генеральному плану строительства города она пройдет по самой окраине новой Тынды. А центр разместится севернее, там, где уже обозначена девятиэтажными домами построенная московскими улица Красная Пресня.

Впрочем, вернемся в тридцатые годы. Год 33-й—особенный в истории поселка. В тот год потянулись первые метры рельсов от маленькой станции Бам на старом Транссибе в сторону Тындинского. А в 20-ю годовщину Великого Октября первый поезд прибыл по только что уложенному пути на железнодорожную станцию Тында. Впервые в истории эха паровозного гудка затрапетало среди окружающих поселок сопок.

Однако празднование сдачи в постоянную эксплуатацию этой железнодорожной линии состоялось лишь сорок лет спустя. Только в канун 60-летия нашей страны ветка Бам—Тында легла красной ниточкой в железнодорожные схемы, заняла свое место в графиках движения поездов.

Война надолго приостановила сооружение Байкало-Амурской магистрали. Замерла стройка, затих, опустел поселок. Рельсы, проложенные к нему, в суровую зиму были разобраны и перевезены под Сталинград, где шла смертельная схватка с фашизмом. И там эти первые бамовские рельсы были уложены на насыпь знаменитой волжской волны и тоже воевали с врагом.

Не все тындинцы вернулись с фронта домой. А те, кто вернулся, привыкали к иному, непривычному в военное время ритму жизни поселка—несспешному, тихому, патриархальному. Привыкали не ропча, не сетя на судьбу—понимали, что у израненной страны есть сейчас более важные заботы там, где фашистские орды оставили руины и развалины.

Подрастало новое поколение тындинцев, с удивлением слушавших рассказы старожилов поселка о большой стройке, о паровозе. С каждым годом рассказы эти становились все больше похожими на легенды. Размывалась дождями, сглаживалась ветрами, заастала деревьями старая железнодорожная насыпь. Поселок постепенно свыкался с рядовым положением одного из тысяч районов России. Численность его населения, казалось, достигла своего предела—3,5 тысячи человек. Не так уж и мало. Сотни домов, даже несколько двухэтажных, правда, несмотря на «высотность», скорее сельского типа, что называется, с удобствами во дворе. Но свой Дом культуры, и больничка, и школа, и даже аэродром, принимающий маленькие АН-2. И АЯМ, по-прежнему днем и ночью гудящий моторами.

Перемен уже, казалось, не ждал никто. История, с которой начаты эти заметки, тогда показалась бы тындинцам не только утопией, но и, пожалуй, насмешкой: сибиряки—народ гордый.

Но в 1972 году население Джелтулакского района увеличилось сразу на 1815 жителей. Это при ежегодном естественном приросте в 100 с небольшим человек. Снова, как в тридцатые годы, появились в Тынде веселые, деловые люди. С грузовиков сгребали деревянные щиты, из которых потом собирали необычные для этих мест дома. И снова потянулись от станции Бам в сторону Тындинского рельсы.

Но даже и два года спустя, когда имя поселка все чаще стало мелькать на страницах газет и журналов, даже тогда

еще тындинцы, словно боясь сглазить, с недоверием относились к разговорам о будущем городе.

А молодые люди со всех концов страны все ехали и ехали в Тынду. За два с небольшим года население поселка выросло до двадцати тысяч человек. На улицах Тынды гудели самосвалы, вонзались в небо стрелы кранов, жизнь закрутилась с невиданной скоростью.

И все же до города было еще очень далеко. Так казалось не только старожилам, но и журналистам, уже увидавшим в «Мосгипротрансе» белоснежный макет будущего города и теперь спешившим написать бравурную фразу: «Город рождается на наших глазах».

Помню свою первую встречу с Тындинским летом 1974 года. Нас разместили тогда в недостроенном детском садике. Рано утром мы проснулись от веселого перестука молотков. Выглянув в окно, долго и удивленно разглядывали ребят в стройотрядовской форме, гордившихся заборчиком вокруг нашего времененного приюта. Двое других шли за ними с банками и кистями и тут же красили штакетник в яркий оранжевый цвет. Этот веселенький заборчик среди исполосованного тропками во всех направлениях, будто бы сплеленного из комьев грязи пустыря нам показался тогда нелепым архитектурным излишеством. Впрочем, был молодых строителей во всем тяготел к ярким цветам—разноцветные вагончики и даже жилые «бочки» были рассыпаны с такой щедростью, как цветы на июльском лугу. И даже строительные зеленоватые робы были испещрены на спинах самыми разноцветными надписями: «Баку», «Горкин», «Тамбов», «Ташкент»...—география мест, приславших своих ребят на стройку, и еще необычно и свежо звучим лозунгом «Даешь БАМ!».

Старый Тындинский смотрел на эту яростную круговерть чуть со стороны, степенно прищурив небольшие окна своих бревенчатых изб и как бы решая вопрос: сможет ли этот легкомысленный народ построить что-либо серьезное?

Но «легкомысленный народ» работал хорошо. Рубил просеки, сооружал насыпь под железнодорожные линии, разбирающиеся во все четыре стороны от Тынды, которую уже почти официально нарекли столицей БАМа. Здесь, в самом центре будущей магистрали, обосновывались все новые и новые строительные подразделения, быстренько ставя свои временные поселки на территории, отведенной под новый город. Впрочем, о городе в контурах управлений и СМП говорили не часто: все силы, все помыслы занимала только она—трасса, каждый километр которой давался с тру-

дом. Неохотно отступала перед натиском строителей тайга. К месту сказать, слово это—тайга—переводится с бурятского языка как горный дремучий лес. И хотя в Сибири и на Дальнем Востоке тайгой называют любой лес, пусть даже приветливо зеленеющий на равнине, в этих местах она вполне соответствовала своему первоначальному определению. Буреломная путаница деревьев, скальный грунт, сотни больших и малых рек—вот чем встречаются тайга первопроходцев. К тому же еще вечная мерзлота.

Помню, как ехали мы в 74-м навстречу спешащим в Тындинский рельсам. Было жарко и сухо. Грунтовая дорога своим оживлением порой напоминала московские улицы—по накатанной тверди громыхали самосвалы, катали тяжелые грузовики с техникой, стройматериалами, продуктами, спешили юркие «газики». Вдруг—стоп, пробка. Чуть ли не всем колесом увязая в грязной жиже, многотрудно урча, с опаской переваливали машины через неизвестно откуда взявшуюся огромную черную лужу. «Вечная мерзлота,—пояснил наш шофер.—Верхний слой потревожили, вот она и начала таять, теперь, сколько ни бросаем сюда песка, щебенки, все как в тартарары проваливается».

Да, нелегко давался и дается каждый километр БАМа. Но хоть и не поднимается рука бросить камень в огород транспортных строителей, а сделать это придется: не должны они были забыть даже на самых первых, самых трудных порах о городе, призванном встать на пересечении будущих дорог. Не было опыта подобного строительства в подобных условиях, но был опыт Братска, Ангарска, опыт, ярко иллюстрирующий, чем оборачиваются в конечном счете «постоянные времянки»...

...Наступала зима—суворая, сибирская, с морозами за пятьдесят, и разноцветные домики утеплялись, обшивались серыми, неоструганными досками, накрепко врастая в землю, становясь основательно сооруженными барrikадами на пути нового города.

Идея сооружения города, казалось, уподобилась зерну, брошенному в землю, которую после укатали катками и покрыли асфальтом. Но как из здорово зернышка все-таки проклевывается росток и пробивает свою зеленой стрелкой асфальтовый панцирь, так и город пробивался через хаос времянок. Пробивался своими первыми кирпичными четырехэтажными благоустроенным домами, возведенными еще в 74-м комсомольско-молодежными бригадами Ивана Павловича Щербакова из Волгограда и комиссара отряда имени XVII съезда ВЛКСМ Владимира Музыцина из



СВАДЬБЫ ИГРАЮТ КАЖДУЮ СУББОТУ.



ТАТЬЯНА БУЯНОВА РАБОТАЕТ МАШИНИСТОМ ПОДЪЕМНИКА, А ВЕЧЕРОМ ОНА ЗАНИМАЕТСЯ В ТАНЦЕВАЛЬНОМ АНСАМБЛЕ.

Горьковской области. Дома эти вы и сегодня легко найдете в Тынде: от последующих они отличаются еще и ярким, по кирпичику выложенным орнаментом—то ли в память о том фестивале красок первого бамовского лета; то ли как предостережение: по кирпичику новый город не скоро сложишь.

Сегодня в Тынде строят из панелей. Строят посланцы столицы.

Чтобы подробнее узнать об их работе, я зашел в Главмосстрой. Но не в то, известное москвичам большое здание напротив памятника Юрию Долгорукому, а в маленький, двухэтажный, облицованный керамической плиткой домик среди вагончиков и сугробов, но тем не менее украшенный неоновой вывеской: Главмосстрой. Это—москвичи на БАМе.

Они появились в Тынде летом 1975 года, за несколько месяцев до ее официального провозглашения городом. Но, собственно, они-то и начали строительство города. Строительство плановое и капитальное. Уже в том же 75-м москвичи сдали четыре девятиэтажных, 72-квартирных дома, отличающихся от водимых в столице лишь некоторыми конструктивными изменениями, связанными с климатическими условиями местности. Подобные жилые дома, еще редко встречающиеся даже в крупных городах Восточной Сибири и Дальнего Востока, сразу же стали основной достопримечательностью и гордостью Тынды, привнеся в ее облик нечто такое, что даже самых отчаянных скептиков заставило поверить в реальность белоснежного макета будущего города.

...В один из морозных ноябрьских вечера прошедшего года мы подошли ко второму подъезду дома № 5-б, что на тындинской Красной Пресне, позволили себе роскошь подняться на лифте на четвертый этаж и нажали кнопку у двери под номером 48. О хозяевах этой квартиры мы узнали лишь накануне и главным образом лишь то, что у них двое маленьких близнецов-мальчишек.

— Да вы зайдите к ним, познакомьтесь. И не надо никого заранее предупредить, у нас в городе гостям всегда рады,—сказал нам тогда руководитель городского литобъединения, инженер, член Союза писателей Олег Головко.

Дверь нам открыл симпатичный молодой человек в спортивном костюме и с модными усиками. Широким жестом он пригласил нас в квартиру, и, перешагнув порог, мы тут же попали в тепло устоявшегося домашнего уюта. Наши новые знакомые Таня и Володя Веслополовы оказались из Барнаула. Там учились, там работали на одном заводе—Барнаульском станкостроительном. Володя—фрезеровщиком, а Таня—контролером ОТК. А сюда приехали 21 ноября 1975 года (ровно неделю спустя

после официального рождения города). Сначала жили в щитовом домике, а 11 июня 1976 года (ребята называют даты уверенно, не сбиваясь, так помнят главные события в жизни) переехали в эту трехкомнатную квартиру. Живут они здесь вместе с Таниными родителями. («Папа с мамой в Тынду раньше приехали, пожили немного и нам написали: приезжайте!») Танин папа по профессии экономист, а у мамы неожиданно сурвала, не вяжущаяся с ее добродушным видом ласковой бабушки работы—стrelок ВОХР. Володя работает электромехаником радиосвязи—это его вторая специальность, полученная в армии, а Таня—бухгалтер. Но, конечно, главные люди в этой квартире—два белобрых мальыша, Максим и Вадим.

Не скрою, задавая вопрос, а где родились ребята, хотелось услышать: здесь, в Тынде. Оказалось не так—Максим и Вадим приехали на БАМ уже вполне сложившимися полугодовалыми мужчинами.

Уже потом подумалось, что сам этот факт (в Тынду не боятся ехать с маленькими детьми) работает на престиж города, пожалуй, даже больше, чем статистические данные о высокой деторождаемости в Тынде (она здесь почти в полтора раза выше, чем средняя по Союзу). Да и вообще история и бытие этой семьи, выбранной нами случайно, красноречивей внешних изменений архитектурного облика Тынды свидетельствуют, что старый поселок уверенно входит в новую, городскую жизнь.

Приметы города, да не тихого, заштатного, а энергичного, растущего, уверенного в своем будущем, встречают человека, прибывшего сегодня в Тынду, буквально на каждом шагу...

Аэропорт—основные ворота, принимающие гостей города. Уже действует железная дорога, и каждое утро к временному тындинскому вокзальчику прибывает пассажирский поезд, на одном из вагонов которого написано «Москва—Тында», но большинство пассажиров отдает предпочтение авиации (несколько суток или несколько часов?). Подождите до лета, говорили нам, начнется пора отпусков—билетов на поезд не достанет. Что ж, у многих, работающих здесь, бесплатный проезд по железной дороге, а время в пути не засчитывается в счет отпуска, почему же не прибавить к месяцу отдыха дни приятного путешествия по дороге, в строительство которой вложен и твой труд. Но пока основной «пассажирооборот» осуществляется авиацией. Стремительные Як-40 трижды в день прилетают в Тынду из Иркутска. «Мало!»—светят начальник аэропорта Николай Иванович Дикиусаренко. Телефон в его кабинете постоянно дрожит от напористых

звонков, дверь не успевает закрываться—все спешат, всем надо лететь. В зале ожидания очереди к кассам.

...Несколько лет назад здесь стоял небольшой домик, где розовощекая девушка-кассир спокойно потягивала чай, с любопытством разглядывая каждого входящего в этот «аэровокзал».

Пройди через новое здание аэровокзала («Маловато уже, не рассчитали, надо бы другое строить»), оказываешься на площади у автобуса. Экспресс безостановочно домчит вас до автостанции. А отсюда во все стороны расходятся городские автобусные маршруты. Их пока еще не очень много (общая протяженность чуть больше 29 километров), а потому автобусы не имеют маршрутных номеров, вместо них на борту крупно написано «Магистральный» или «Школьный»... Горожане свободно ориентируются в этих надписях. И хотя тындинцы предостерегали нас от восторженных слов в адрес общественного автотранспорта, да мы и сами убедились в преждевременности этого, одну деталь, связанную с его появлением, хочется отметить: два года назад, когда открыли первый автобусный маршрут, в список профессий, существующих в городе, добавилась новая, до тех пор неизвестная в этих местах—кондуктор. Здесь же, на автостанции, если повезет, вы можете познакомиться с представителями еще одной новой для города профессии—таксистами.

Автостанция находится у самого АЯМа, и, ожидая автобус, можно наблюдать, как на оживленном перекрестке несут свою службу инспектора дорожного ГАИ Валентина Анисимова, Татьяна Мищенко и Лариса Соколинская—три подруги, приехавшие сюда летом из Фрунзе. Там, в столице Киргизии, они после десятилетия закончили школу младшего милиционерского состава, там начали работать, а вот сейчас, не изменив своей нелегкой профессии, продолжают службу в столице БАМа. Девушек уже хорошо знают на тындинских дорогах—почти все шоферы приветливо машут им рукой. Но дружба дружбой, а служба службой. Как бы предостерегая потенциальных нарушителей, из планшетки Татьяны Мищенко торчат два снятых номера. Один из них перекочевал туда с переднего бампера грузовика на наших глазах. Так наказала Татьяна водителя, пытавшегося въехать в город на машине с неисправным глушителем. Водитель не спорил, хотя, наверное, грохот его «магируса» вряд ли был замечен в шуме стройплощадки, которой сейчас является

весь город. Но закон есть закон. Он одинаков всюду—и во Фрунзе и в Тынде.

Приметы города на каждом шагу. В нетерпеливой очереди у киоска «Союзпечати»—привезли свежие газеты, в магазине: «Дима, не забудь за кофе выпить», у рекламного щита возле Дома культуры—приезжает киевская эстрада...

Ну, и, конечно, важная черта любого города—его вечерняя жизнь. Куда же спешат тындинцы после рабочего дня? В Дома культуры (их два: один, доставшийся городу в наследство от старого поселка, другой, новый—«Юность») и клубы, которые имеют каждое строительное подразделение. Здесь можно посмотреть кинофильм или концерт (иногда приезжих артистов, чаще—своей самодеятельности), можно и самому принять участие в подготовке номеров для такого концерта. Энтузиастов художественной самодеятельности в Тынде немало. Созданные ими коллективы работают самозабвенно, завоевывая дипломы различных достоинств на самых представительных смотрах и конкурсах. Достаточно сказать, что вокально-инструментальный ансамбль «Серебряное звено», выступая на заключительном концерте Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества тружеников в Кремлевском Дворце звезд, вернулся домой лауреатом. Другой вокально-инструментальный ансамбль, «Ровесник», недавно побывавший в Болгарии, субботними и воскресными вечерами выступает в столовой «Лесная сказка», преображающейся в эти часы в кафе, где можно потанцевать. Тындинские поэты и прозаики спешат вечерами на занятия литобъединения. К услугам тех, кто продолжает образование, вечерняя школа и два учебно-консультационных пункта—Иркутского строительного техникума и Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта.

Что еще обязательно для вечерней жизни города? Спорт? Сделаем в этой графе прочерк: нет в Тынде ни одного спортивного зала. Даже открытых спортплощадок—так легко сооружаемые катков и хоккейных коробок—мы, уезжающие из города месяца полтора спустя после прихода сюда настоящей зимы, не увидели. Суммируя минусы «программы отдыха», которую сегодня предоставляет город своему населению, надо заметить, что ни одно из вышеперечисленных культурно-просветительных заведений не имеет своего капитального здания — все временные.



ГЛАВНЫЕ ЛЮДИ В СЕМЬЕ ВЕСЛОПОЛОВЫХ—
БЛИЗНЕЦЫ МАКСИМ И ВАДИМ

КАНИКУЛЫ!



вать многие знаменитости: космонавты, артисты, писатели. Города, где живут два заместителя министров—путей сообщения и транспортного строительства—и работают возглавляемые ими две крупные организации. А кроме того, действуют в Тынде еще больше десятка организаций трестового уровня. Всего же—52 самостоятельных подразделения со своими мощными общественными организациями и внушительным аппаратом. Казалось бы, какие возможности открываются перед городом, принявшим столь представительные и высокие учреждения. Говорят ведь: с миру по нитке... Но не хотят отдавать высокие учреждения свою нитку в общегородскую рубашку. Каждое старается свить из нее нечто пригодное только для собственных нужд.

Жилье для людей? Поселим во временных помещениях. Магазин? Разместим в вагончике, для нас хватит. Где отдыхать? Скопотим свой клуб. Вот и плодятся на месте города деревянные поселочки, каждый со «своим» магазинчиком, со «своим» клубом. А ведь, объединившись, можно было бы возвести достойный столицы БАМа Дворец культуры, просторные универсалы. Более 50 мелких котельных загрязняют небо над

ПОСЛЕ РАБОТЫ.

МНОГИЕ ИЗ ЭТИХ МАЛЫШЕЙ РОДИЛИСЬ НА БАМЕ. РОЖДАЕМОСТЬ В ТЫНДЕ ПОЧТИ В ПОЛТОРА РАЗА ВЫШЕ, ЧЕМ СРЕДНЯЯ ПО СТРАНЕ.



Тынды, а должна бы быть одна, мощная, современная. Подобными примерами можно исписать не одну страницу. Ответ на все доводы примерно такой: мы приехали сюда не отдохнуть и даже не жить, а строить. Самый минимум удобств—все, что нужно отряду строителей на переднем крае.

Спору нет: главная задача транспортных строителей—сооружение магистрали. Но не менее важная задача общегосударственного значения намечена партией на XXV съезде. В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» задача эта сформулирована так: «Для обеспечения районов Сибири и Дальнего Востока кадрами предусмотреть более быстрые темпы строительства в этих районах жилых домов и культурно-бытовых учреждений».

На строительство БАМа со всей страны приехали тысячи молодых людей. Закрепить их на этих местах—значит дать новый толчок развитию производительных сил восточных районов страны. Сегодня же на вопрос «Согласились бы вы постоянно жить и работать на местных предприятиях?» положительно ответили лишь 13,4 процента опрошенных тындинцев. 35 процентов высказались неопределенно: «Возможно». Сделать эту «возможность» реальностью в силах строительных организаций, сооружающих БАМ.

Молодой город Тында, растущий в некогда диких, безлюдных местах, может и должен стать форпостом осво-

ения этих районов, культурным и общественным центром в зоне Байкало-Амурской магистрали. Таким он здесь и спроектирован. Таким он и должен строиться. Но предоставим слово людям, непосредственно связанным со строительством Тынды.

Первый секретарь Тындинского городского комитета партии Юрий Афанасьевич Есаулков:

— Строительству и развитию города мешает психология временных жителей, присущая организациям транспортных строителей. Нет комплексного подхода к решению городских задач.

Председатель Тындинского горисполкома Дмитрий Владимирович Полубинский:

— В городе нет единого хозяина. Каждый строит только для себя. Если бы городской Совет мог сконцентрировать все средства, найти генерального застройщика Тынды, город бы не переживал столь тяжких мук рождения.

Начальник Управления строительства Главмосстроев в Тынде Юрий Григорьевич Коростышевский:

— На сегодня создалось такое положение, что нам строить негде. Все площадки заняты временными жилыми домами. Снос их происходит очень болезненно. Без принятия кардинальных мер города не получится.

Комментировать эти высказывания, видимо, нет необходимости. Не вдаваясь в тонкости, лишь поясним сложившуюся в Тынде ситуацию. Заказчик всего строительства БАМа—Министер-

менные. Почему? Чтобы ответить на этот вопрос, снова вернемся к началу наших заметок, к тому моменту, когда мы опоздали на прием к мэру города.

Впрочем, извиняться за это опоздание нам не пришлось—председатель горисполкома вошел в свою приемную следом за нами. На ходу расстегивая дубленый полушибок, он устало улыбнулся и сказал: «Извините... задержался... только что с совещания...»

Совещания—это тоже одна из примет сегодняшней Тынды, города все-таки очень удивительного для своего формального положения рядового райцентра. Города, в котором издаются две местные газеты, а три центральные имеют своих собственных корреспондентов. Города, в котором успели побы-

ХОККЕИСТЫ ПОКА ВЫНУЖДЕНЫ ТРЕНИРОВАТЬСЯ НА СНЕГУ.



АВТОИНСПЕКТОР ТАТЬЯНА МИШЕНКО—ГРОЗА НАРУШИТЕЛЕЙ.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЮНОСТЬ».



ство путей сообщения—считает, что для обслуживания будущего железнодорожного узла Тынды потребуется примерно 10 тысяч эксплуатационников-железнодорожников. А значит (с учетом членов их семей), надо построить поселок (подчеркиваю: поселок, а не город) лишь на 16 тысяч жителей. Более того, чтобы не увеличить эту цифру, МПС планирует 30 процентов своих кадров в Тынде укомплектовать... холостяками.

Конечно, всем понятно, что город, находящийся на перекрестке трех магистралей—одной автомобильной и двух рельсовых,—не может оставаться в отчиной лишь железнодорожников. Уже сегодня ряд министерства и ведомств планируют разместить здесь свои предприятия и организации, а значит, и новые тысячи людей. И, разумеется, выделить под это определенные средства. Однако осваивать эти средства некому: генеральный подрядчик строительства БАМа—Министерство транспортного строительства в лице Главбамстроя—работает только по заказу МПС, а стало быть, осуществляет возведение лишь железнодорожного поселка. Конечно, со временем все заинтересован-

«ОРИГИНАЛ» ПОЗВОЛЯЕТ БАМОВЦАМ СМОТРЕТЬ ПРЯМЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ.

В ШКОЛЕ КОМСОМОЛЬСКОГО АКТИВА ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНОВ.



ные в городе организации найдут себе застройщиков и обосновутся в Тынде. Но это значит, что число разрозненных инженерных коммуникаций, мелких объектов соцкультбыта будет множиться. Не проще ли сразу объединить усилия, сконцентрировать средства и строить город крупно, красиво, согласно его генеральному плану? Разумеется, сформулировать вопрос гораздо легче, чем ответ на него. Однако, несмотря на все трудности и межведомственные барьеры, найти этот ответ необходимо.

...Нынешняя зима пришла на амурскую землю рано и, в отличие от обычного, с большим снегом. По утрам над Тындой висит морозная дымка. Уроженец Ростовской области, земляк Шолохова, первый секретарь Тындинского горкома комсомола Виктор Муконин тоном коренного сибиряка наставляет нас: если утреннее солнце размыто и над сопками как будто туман, значит, мороз за сорок. Прожившие здесь две-три зимы считают себя старожилами Тынды. Облаченные в меховые полушубки и унты, парни и девушки из Тбилиси, Каунаса, Днепропетровска, Москвы, Фрунзе даже не интересуются столбиком термометра, застывшим где-то далеко под нулевой отметкой. Выходя на работу, широко и уверенно шагают они по скользким косогорам, которым еще только суждено стать городскими тротуарами. И в этом уверенном шаге молодых строителей молодого города—залог интересной судьбы столицы Байкало-Амурской магистрали.





шего агента, вдовы жандармского полковника Анны Петровны Кутузовой, у которой жил на квартире. Анна Петровна была искусственным вербовщиком людей, пригодных для агентурной службы. Отзывы о Клетчникове жандармских управлений тех городов, где он прежде служил, как и отзыв неотступно следившего за ним на протяжении почти двух месяцев одного из лучших агентов внешнего наблюдения, Ловицкого, были благоприятными. Таким же было и то непосредственное впечатление, которое Клетчников с самого начала произвел на заведовавшего агентурой статского генерала Кирилова и его помощника Гусева.

«...он произвел на меня,—писал Кирилов два года спустя в своих показаниях о Клетчникове,—впечатление человека не только не подозрительного для выдачи каких-либо тайн, а, напротив, вполне пригодного для сохранения их... Упомянутое впечатление поддерживалось и далее как во мне, так и в Гусеве... В неошибочности этого впечатления убеждало многое: во-первых, совсем непринужденное усердие и внимание к делу; во-вторых, молчаливость Клетчникова, которую мы относили к болезненному состоянию; в-третьих, отсутствие всякой пытливости, не проявляющейся ни в чем, даже в тех случаях, когда приходилось вызывать его при секретных моих разговорах с Гусевым; в-четвертых, постоянное нахождение Клетчникова на глазах у других переписчиков, во время занятий; в-пятых, сведения, которые от времени до времени получались о жизни его на квартире, причем оказывалось, что ночи он никогда вне квартиры не проводит... На квартирах же его отзывались о нем с самой отличной стороны, в том отношении, что не замечается никакого участия его в компаниях посторонних лиц». Итак, по мнению начальников Клетчникова, выдать тайну обысков мог кто угодно, но только не он. В конце концов подозрение пало на Яроцкую. Решили, что именно она предупредила курсисток. От ее дальнейших услуг отказались.

Между тем о предстоявших в ночь на 24 марта обысках петербургским революционерам стало известно от Клетчникова. Он передал эти сведения одному из виднейших деятелей революционной народнической организации «Земля и воля» (позже «Народная воля») Александру Михайлову, который и предупредил об обысках всех, кого это касалось, в том числе и курсисток, тех самых, что так непредусмотрительно бросили его записку в корзину с бумагами.

Именно по предложению Михайлова и при его содействии Клетчников последил у Кутузовой, содержавшей меблированные комнаты. Революционному подполью в то время стало известно, что на ее квартире часто собираются агенты Третьего отделения: нужно было выяснить, так ли это. В ту пору из-за шпионов произошло несколько крупных провалов, самым значительным из которых был октябрьский 1878 года, когда за решетку попал почти весь состав центрального кружка «Земли и воли». Александр Михайлов и его товарищи землевольцы искали способов защиты от шпионов.

Здесь и далее выделены шрифтом выдержки из документов, не публиковавшихся ранее и взятых из архивов Москвы, Ленинграда, Симферополя, Пензы.

Клетчников поселился у Анны Петровны под видом отставного чиновника, ищущего место. Тихий, скромный жилец, неизменный партнер Анны Петровны по карточной игре, которую она обожала. Клетчников нравился хозяйке. Он производил впечатление человека, далекого от политики, и очень скоро у Анны Петровны не стало от него тайн. Она сама взялась устроить его судьбу. Позднее в своих показаниях Анна Петровна рассказала:

«Я сначала советовала ему обратиться в разные учреждения, а затем объявила, что у меня есть в Третьем отделении... знакомый чиновник, которому я могу его рекомендовать, но не знаю, пожелает ли он там служить. На это Клетчников ответил, что он охотно готов служить в Третьем отделении, так как там обеспечивается хорошая пенсия. После того однажды начальник агентуры г-н Кирилов стал просить у меня рекомендовать ему переписчика с хорошим почерком, на что я объявила, что у меня есть квартирант, нуждающийся в занятиях и имеющий хороший почерк. Кирилов просил прислать к нему на следующий день к 8 ч. утра Клетчникова, что я и исполнила».

Так перед Клетчниковым и перед всем революционным подпольем открылась невиданная перспектива: проникнув в святая святых политического сыска, обезвреживать его изнутри. И этой возможностью землеволец Николай Васильевич Клетчников воспользовался с величайшим искусством.

Одним из первых крупных успехов Клетчникова в роли контрразведчика революции было разоблачение провокатора Рейнштейна. Близкий к руководителям «Северного союза русских рабочих» Степану Халтурину и Виктору Обнорскому, пользовавшийся полным их доверием, Рейнштейн готовился выдать Третьему отделению всех членов «Союза». Кроме того, за особо выговренное вознаграждение (за тысячу рублей серебром, как узнал Клетчников от самого Шмита, составляя под его диктовку соответствующий документ) Рейнштейн взялся выследить подпольную типографию землевольцев, за которой полиция безуспешно охотилась второй год подряд. Возможно, что это было удалось (он уже передал Шмиту и

Владимир САВЧЕНКО

КОНТРАЗВЕДЧИК РЕВОЛЮЦИИ

Новое о жизни легендарного Николая Клетчникова

Это случилось в Петербурге в ночь на 24 марта 1879 года. Полицейские обыски на квартирах нескольких десятков человек, заподозренных в нелегальной революционной деятельности, удивительным образом оказались бесплодными: ни у кого из заподозренных ничего предосудительного не нашли, никого не арестовали. Но у двух девушек-курсисток были обнаружены в мусорной корзине клочки разорванной записки, предупреждавшей хозяек квартиры об обысках.

Обнаруженная записка вызвала большой переполох в центре тогдашнего царского сыска—в Третьем отделении. Именно отсюда по всей стране распространялась атмосфера всеобщей подозрительности, шпионажа, доносительства. Распоряжение об обысках составлялось в полной секретности. Неужели кто-то из узкого круга чиновников передал «нелегалам» предупреждение об

обысках? Управляющий Третьим отделением сенатор Н. К. Шмит приказал немедленно провести секретное дознание.

Подозрение пало на трех человек: слушательницу женских курсов секретного агента полиции Яроцкую, зарабатывающую на жизнь доносами (от Яроцкой и были получены Третьим отделением сведения о политической неблагонадежности тех двух курсисток), и переписчиков агентурной канцелярии Николаева и Клетчникова, которые составляли и переписывали текст распоряжения об обысках. Однако установить, кто же из этих трех человек разгласил тайну, оказалось делом нелегким: все трое производили впечатление людей благонадежных. Причем менее других вызывал подозрение Клетчников.

Несмотря на то, что Клетчников служил в Третьем отделении всего третий месяц, он уже успел зарекомендовать себя с самой выгодной стороны. Поступил он сюда по рекомендации опытней-

шандру Михайлова, который и предупредил об обысках всех, кого это касалось, в том числе и курсисток, тех самых, что так непредусмотрительно бросили его записку в корзину с бумагами.

Именно по предложению Михайлова и при его содействии Клетчников последил у Кутузовой, содержавшей меблированные комнаты. Революционному подполью в то время стало известно, что на ее квартире часто собираются агенты Третьего отделения: нужно было выяснить, так ли это. В ту пору из-за шпионов произошло несколько крупных провалов, самым значительным из которых был октябрьский 1878 года, когда за решетку попал почти весь состав центрального кружка «Земли и воли». Александр Михайлов и его товарищи землевольцы искали способов защиты от шпионов.

Здесь и далее выделены шрифтом выдержки из документов, не публиковавшихся ранее и взятых из архивов Москвы, Ленинграда, Симферополя, Пензы.

Кирилову полный список членов петербургского и московского отделений «Союза» и успел завязать знакомства с землевольцами, близкими к подпольной типографии), если бы не Клетчников, вовремя сообщивший своим товарищам по «Земле и воле» о замыслах Рейнштейна. Рабочий «Союз» был спасен от разгрома, землевольческая типография тоже. Прокурор поплатился за свою сделку с Третьим отделением жизнью: по приговору большого совета «Земли и воли» он был убит.

Происшествие с запиской, найденной у курсисток, не повредило Клетчникову. Он по-прежнему пользовался доверием своих начальников в Третьем отделении, причем это доверие к нему все более возрастало. Человек образованный, знающий канцелярию, умеющий быстро и толково составить любую деловую бумагу, притом обладающий прекрасным почерком, Клетчников вскоре становится незаменимым помощником Кирилова, а затем и Шмита.

Делает карьеру Кирилов, поднимаясь к высшим должностям,—и следом за ним делает карьеру Клеточников.

«Обязанности Клеточникова в агентуре,—читаем в показаниях одного из чиновников агентурной канцелярии,—заключались в переписке агентурных записок, в составлении оных... в переписке более секретных бумаг как на квартире статского советника Кирилова, так и в агентуре. Вообще все то, что делалось в агентуре, Клеточников должен был знать, и даже более секретное—ранее других служащих. Кажется, в мае или июне 1880 года Клеточников был переведен в Третью экспедицию, где на него было возложено: переписка и составление более секретных бумаг, шифрование и дешифрование телеграмм и корректура переписанных бумаг другими служащими».

Эти сведения дополняет другой чиновник Третьей экспедиции:

«До мая 1880 года Клеточников служил при агентуре, где сосредоточивались все агентурные сведения по политическим делам. Занимаясь же секретной частью в Третьей экспедиции, он был посвящен во все, что входило в круг деятельности этой экспедиции, т. е. он мог все знать, если только желал... тем более при том условии, что он занимался в секретной части, которую в последнее время и заведовал».

Таким образом, начав со скромной должности переписчика в агентурной канцелярии, Клеточников за два года поднялся до заведующего группой переписчиков Третьей экспедиции—основного подразделения Третьего отделения, где сосредоточивались все дела политического характера,—объединив в своих руках буквально всю переписку по экспедиции. При этом он получил в полное заведование и все дела по перлюстрированию, ведение денежных ведомостей, шифровальное дело, наконец, стал заведующим секретным отделом. Успехи способного чиновника не остались не замеченными высшими сферами: весной 1880 года Клеточникову «за отлично-усердную и ревностную службу» был высочайше пожалован орден св. Станислава.

Все, что Клеточников узнавал в Третьем отделении, он немедленно передавал Михайлову. Их встречи происходили на особой конспиративной квартире, вполне безопасной, которую землевольцы устроили после случая с запиской; этот случай, чуть не погубивший Клеточникова, заставил землевольцев тщательно продумать меры предосторожности. Хозяйкой квартиры была молодая революционерка Наталия Оловенникова, никогда прежде не навлекавшая на себя подозрение властей. Клеточников приходил к ней (якобы своей невесте) и здесь встречал Михайлова. У Клеточникова была поразительная память, он легко запоминал все, что ему приходилось писать: целые страницы имен, цифр, адресов переносил он в своей голове из Третьего отделения на квартиру «невесты», здесь диктовал эти сведения Михайлову, и тот записывал их в особую тетрадь. Встречались часто, в отдельные месяцы почти каждый день. Вот лишь несколько записей всего за один день 2 июля 1879 года:

«Янковский, околоточный надзиратель (кажется, в Озерках), ведущий переписку с Третьим отделением, сошелся с каким-то Швецовым и рекомендует подкупом переманить его в Третью отделение из секретного, которому он до сих пор доставлял сведения. Швецов этот будто бы очень близок с руководителями революционного движения, знаком с покушавшимся на жизнь шефа, знает о каких-то ужасных взрывчатых веществах и каких-то ящиках, закавы на которые принимает Швецов...

Рачковскому в Вильно послано жалованье на имя Недзельского, у которого он остановился...

На заводе Нобеля продолжается революционная агитация; руководители ее—слесарь того завода Шахов и студенты Полозов, Измайлов. Все трое подозреваются в участии в убийстве Рейнштейна... Теперь за ними началась охота со стороны секретного отделения... С нынешнего дня поставлены 2 шпиона у Андреевского Училища следить за Вересовым и его знакомыми; агенты секретного отделения и полиция тоже наблюдают у этого училища за каким-то Ш...

Значение этих сведений трудно было

переоценить. Упомянутый в начале сообщения столяр Швецов мог бы сыграть роковую роль для «Земли и воли», если бы своим сообщением Клеточников не открыл землевольцам его подлинное лицо. Подобно Рейнштейну, Швецов сблизился с одним из вожаков рабочих—Халтуриным, а через него и с некоторыми землевольцами, связанными с нелегальной типографией, и готовился навести на типографию жандармов. Точно так месяца за два перед тем Клеточников разоблачил и другого упомянутого в этом сообщении провокатора—Рачковского, также довольно близко подбравшегося к центру организации.

Сообщая землевольцам о происках царского сыска, разоблачая секретных агентов (всего он обезвредил более трехсот агентов Третьего отделения), Клеточников буквально парализовал деятельность политической полиции Александра II. Причем сделать это удалось в такое трудное и ответственное для революционных народников время (1879—начало 1881 г.), когда их организация была вынуждена в обстановке непрекращавшихся преследований со стороны царского правительства перейти к террору. Народники выдвигают один план цареубийства за другим и пытаются эти планы осуществить. С помощью своего агента в течение всего этого боевого периода «Земля и воля», переименованная в 1879 году в «Народную волю», остается вне досягаемости полиции, сохраняет свободу действий и 1 марта 1881 года завершает свою боевую программу удачным покушением на Александра II.

Личность первого контрразведчика революции Николая Васильевича Клеточникова всегда вызывала к себе острый интерес у историков. Что он был за человек? Как удалось ему сделать в Третьем отделении поразительную карьеру, которую оборвала лишь случайность? Как мог он, революционер, целых два года ежедневно общаться с чиновниками этого учреждения, людьми, к которым он, по собственному его признанию на суде, все время испытывал одно постоянное чувство—омерзение? А с другой стороны, как объяснить тот факт, что он многие годы прозябал мелким чиновником в провинциальной глупи, прежде чем в октябре 1878 года связал свою судьбу с «Землей и волей»? Все его товарищи по революционному подполью к этому времени уже имели многолетний революционный стаж, хотя и были моложе его на 5—10 лет; почему же он свои лучшие годы потратил, по видимости, впустую?

Это обстоятельство тем более нуждается в объяснении, что ведь вся позднейшая революционная деятельность Клеточникова неопровергимо свидетельствовала о том, что он был человек в революции не случайный. Работа революционера требовала и непоколебимой уверенности в правоте своего дела и необыкновенной силы духа, и самоутверждности. Мужественное поведение Клеточникова на суде и подвижническая смерть в Алексеевском равелине Петропавловской крепости ради спасения своих товарищей еще более подчеркивали его характер революционера.

Во время работы над художественно-документальной повестью о Клеточникове «Тайна клеенчатой тетради» мне удалось обнаружить в архивах разных городов ряд документов, которые в какой-то мере проливают свет на «белые пятна» в биографии Клеточникова. В Пензенском областном архиве хранятся документы местной мужской гимназии за многие десятилетия, в том числе и за 1856—1863 годы, когда в этой гимназии учился Клеточников. Из этих документов следует, что Клеточников учился одновременно с такими виднейшими революционерами 60—70-х годов прошлого века, как Д. Каракозов, его двоюродный брат Н. Ишутин, П. Войнаральский.

В Пензенской гимназии в эти годы преподавали выдающиеся учителя, на-

родные просветители словесник В. И. Захаров, историк В. Х. Хохряков, естествоиспытатель В. А. Ауновский, географ и историк И. С. Виноградов. Вместе с преподававшими в Пензенском дворянском институте учителям словесности В. И. Логиновым и старшим учителем математики и физики И. Н. Ульяновым (отец В. И. Ленина) они составляли один дружеский кружок, культурный центр тогдашней Пензы. Это были люди передовых демократических взглядов, разносторонне образованные, ставшие и в своих воспитанниках развить пытливость мысли, стремление все понять самим и обо всем судить критически и с участием. Именно этим педагогам в первую очередь были обязаны будущие революционеры Каракозов, Ишутин, Войнаральский своим политическим воспитанием, развитым самосознанием, своими гражданскими идеалами.

Без сомнения, Клеточников не мог избежать благотворного влияния этих педагогов, всей атмосфере жизни пензенского образованного общества начала 60-х годов. В то время в стране происходила грандиозная крестьянская реформа, отменявшая крепостное право. И все честные, передовые люди России были озабочены тем, чтобы крестьяне не были ограблены помещиками, чтобы освобождение было подлинным, с передачей крестьянам всей земли. В кружках интеллигенции любые разговоры непременно сворачивали на эту тему, самую важную в России тех лет. Велись такие разговоры и в семье Клеточниковых.

Документы свидетельствуют, что это была культурная семья. Отец Клеточникова, Василий Яковлевич, происходил из семьи художника и сам был художником. «По окончании обучения в доме родительском у лучших художников», читаем в его формуллярном списке, он был в 1836 году «удостоен Санктпетербургской Академии художеств звания учителя рисования в уездных училищах». С 1843 года по 1859 год Василий Яковлевич служил архитектором в Пензе. Своим детям Леониду, Надежде и Николаю он дал прекрасное по тем временам образование.

Человек искусства, Василий Яковлевич привил любовь к искусству и своим детям. Произведения живописи, как и книги, были неразлучными спутниками Николая Васильевича в течение всей жизни. «Знаю, что он был любителем произведений живописи и покупал их»,—писал о Н. В. Клеточникове в 1881 году один из его близких знакомых, В. К. Винберг. Другой его знакомый, известный русский врач В. Н. Дмитриев, также отмечал «его любовь к художественным произведениям живописи, к книгам, литографиям, которые он покупал, несмотря на ограниченные средства».

В 1863 году Клеточников окончил гимназию с серебряной медалью и вместе с девятым другими выпускниками гимназии поступил в Московский университет на физико-математический факультет. И здесь снова судьба сводит его с Николаем Ишутиным, именно в это время пытавшимся создать из пензенского землячества университета тайное общество. Мы не располагаем пока документами, которые прямо указывали бы на факт участия Клеточникова в ишутинских конспирациях, но, уже зная о Клеточникове, тем более зная позднейшего Клеточникова, народовольца, революционера, мы вправе сделать такое предположение. Во всяком случае, ясно одно: едва ли Ишутин не пытался привлечь Клеточникова к подпольной работе зимой 1863—1864 года, а также и год спустя, когда Клеточников перевелся в Петербургский университет, где как раз в ту пору ишутинцы пытались организовать тайное общество по типу московского.

Более десяти лет, вплоть до 1878 года, Николай Васильевич прожил на юге России, и здесь он был связан тесными дружескими узами с людьми передовых взглядов. Так, Н. А. Мордвинов был известным общественным де-

ятелем, участником освободительной борьбы в России 40—80-х годов прошлого века. Он был знаком с Н. Г. Чернышевским и А. И. Герценом, сотрудничал в «Колоколе». Дважды арестовывался по обвинению в антиправительственной деятельности—по делу Петрашевского в 40-х годах, по делу о распространении революционных прокламаций в 50-х годах. А в начале 60-х годов был одним из организаторов социалистической кружковой пропаганды в Саратове, поддерживал связи с тайным обществом (первым) «Земля и воля», наконец, в 1864 году связался с ишутинцами, в то время пытавшимися объединить революционные кружки разных городов.

В. С. Корсаков, бывший председателем Ялтинского съезда мировых судей, в котором Клеточников служил секретарем, был одним из первых прогрессивных общественных деятелей юга России, посвятивших себя внедрению в жизнь новых начал, возвещенных земской и судебной реформами. Энтузиастом и подвижником земского дела был и В. К. Винберг, вместе с В. С. Корсаковым объединивший вокруг себя большую группу образованных молодых людей, демократически настроенных, убежденных сторонников идеи преобразования России на основаниях земского самоуправления и демократизированного судопроизводства. На протяжении 70-х годов Винберг руководил губернским земством. Он оказывал всяческое содействие различным группам социалистов-народников, пропагандистов, устраивал их в подведомственные ему учреждения, был хорошо знаком с виднейшими народовольцами Михаилом Тригони и Софьей Перовской, которая, как и Клеточников, одно время служила в одном из подведомственных ему учреждений—фельдшерской в Симферопольском богоугодном заведении в 1876 году. За связи с революционным подпольем и практическое содействие революционерам Винберг был в 1881 году арестован.

На дознании Клеточников с поразительным упорством доказывал бесплодность борьбы с революционным подпольем, которому не страшны никакие полицейские меры правительства. Подобной тактики держались на дознании и другие народовольцы.

«Главная цель партии,—показывал Клеточников,—есть именно расширение своей организационной деятельности... Эта деятельность действительно идет успешна... Где прежде действовали единичные личности, там теперь самостоятельно действуют целые кружки, так что в центре теперь меньше надобности, чем прежде... Арест Михайлова произвел на Алафузова (псевдонима члена Исполнительного комитета «Народной воли» А. Баранникова—В. С.), а по его словам, и на других членов, не переполох, а только сожжение о потере одного из хороших, преданных делу соучеников... В одно из последних посещений моих Алафузова я спросил: читал ли он книгу о взрывчатых составах, о которой недавно были публикации в газетах? Он ответил, что она у него есть, но что они ничего нового из нее не извлекли, что они ушли вперед в этом деле».

На суде Клеточников произнес свою знаменитую речь, прозвучавшую на всю страну. В ней он дал убийственную характеристику царской России, управлявшуюся методами застеночных учреждений, деморализованной шпионажа и доносчиками. В этой речи он объяснил и мотивы, которыми руководствовался в своей революционной деятельности:

«До тридцати лет я жил в провинции глухой, среди чиновников, занимавшихся дрягами, попойками, вообще ведших самую пустую, бесодержательную жизнь... Я стал искать причину такого нравственного упадка и нашел, что есть одно отвратительное учреждение, которое разворачивает общество, которое заглушает все лучшие стороны человеческой натуры и вызывает к жизни все ее пошлые, темные черты. Таким учреждением было Третье отделение. Тогда я решился проникнуть в это учреждение, чтобы парализовать его деятельность... Я служил русскому обществу, всей благомыслившей Россией».

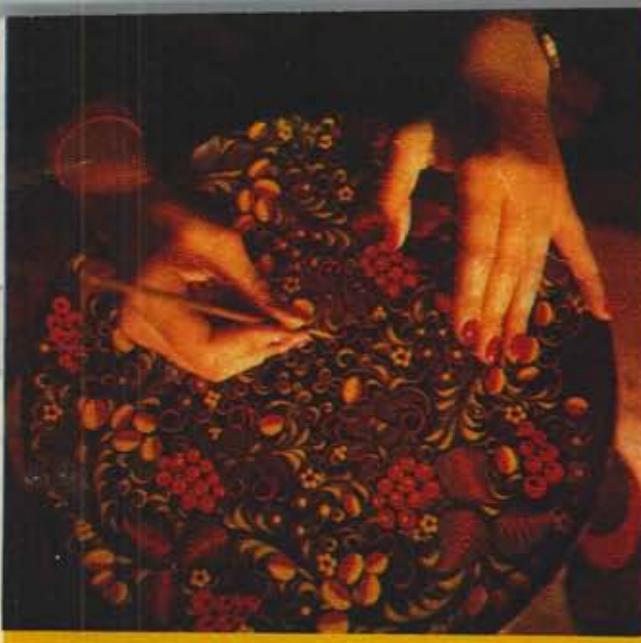
Репортаж
об интересном

И К ХОМУТУ
ПРИКОСНУЛАСЬ
РУКА ХУДОЖНИКА.

СНАЧАЛА ЛЕТАЮТСЯ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАГОТОВКИ...



ЗХОКХЛОМА



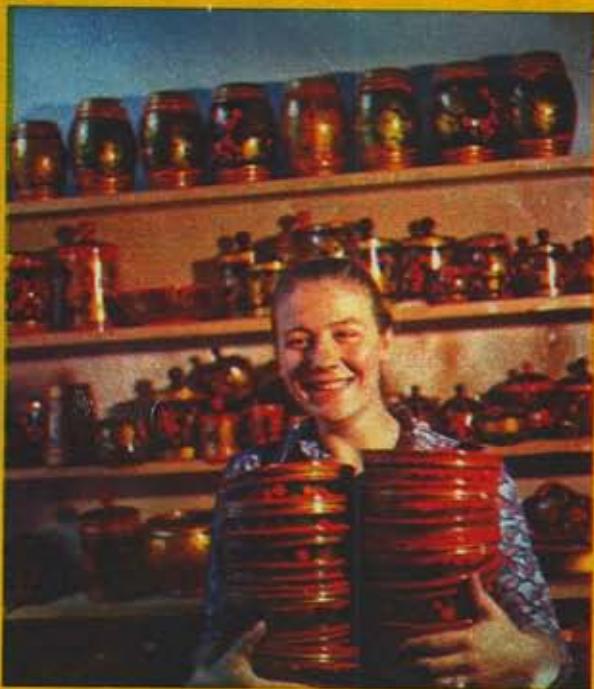
Юрий НЕМЦОВ.
Фото Юрия УСТИНОВА.

Мы привыкаем к хохломе — и не можем привыкнуть. Она в каждом доме: в буфете, в серванте, красуется за стеклом и постукивает в рюкзаке за спиной. Мы — моем деревянные ложки и миски горячей водой, а они все так же блестят. Не тускнеют краски, не стирается узор. История хохломы полна загадок. Вроде не так уж давно возникло производство «золотой» посуды, а когда точно? То ли семнадцатый, то ли восемнадцатый век. Вроде и место рождения известно — деревня Хохлома Коневинского района Горьковской области, а кто «родители»? Рассказывают, что среди здешних раскольников был знаменитый мастер-иконописец, построивший в лесу, на берегу реки дом, где красил деревянную посуду. Вскоре о мастере-иконовщике прослышали в Москве, и двинулись в глухие леса царские солдаты. «Узнав об этом», — пишут исследователи хохломской росписи, — призвал мастер мужиков из соседних деревень, показал им свое умение, отдал краски, кисти и исчез.

Загадочно возникновение хохломы, но еще загадочнее ее существование в наши дни. В современном миллионном городе, в супермаркете машин и спешащих людей вдруг забежишь в универмаг, пробешься сквозь спини к прилавку — и застынешь, околованный все той же тихой красотой, все тем же сказочным узором. Глянешь на бумажную этикетку, приkleенную к донышку плошки, — «Семеновское производственно-художественное объединение «Хохломская роспись». Фабрика!

«Хохломской росписи» скоро пятьдесят лет. Здесь еще сохранился деревянный барак — старый цех, в котором давно уже никто не работает. Рядом — белый четырехэтажный красавец, словно пассажирский

РОЖДЕНИЕ ДИКОВИННЫХ УЗОРОВ. НЕ СТРАШНО — НЕ РАЗОБЫЮТСЯ!



теплоход на грузовом причале, где по соседству грунтуются баржи, — новый цех. На 800 человек рассчитан он. Оборудование самое современное, залы просторные, светлые. Здесь пульверизационные кабины, транспортные тележки, огромные печи, где происходит обжиг деревянных изделий. Все, как на обычной современной фабрике. Правда, тихо. Графики выполнения плана, имена передовиков производства. Продукция...

Мягко, словно в масло, входит резец в липовую болванку. Борозды, как морщины, волнами побежали по ней и исчезли, сладились. Стружка из-под резца, как струя фонтана, вдруг устремляется вверх и падает. Резцы длинные, загнутые, с деревянной

ручкой, похожие на маленькие багры. От малейшего прикосновения меняется форма изделия, поставец или тарелка на глазах рождаются под рукой мастера, то и дело проверяющего ладонью, гладко ли. Вот оно, искусство. И вдруг автоматика: станок с четырьмя резцами: два по бокам, один по центру, четвертый сверху. Раз — отрезал! Аккуратная рюмочка падает в большой плетеный короб. Раз — и вторая, точно такая же, летит вслед за первой. Еще несколько секунд — третья. Даже обидно.

— Что же, — спрашиваю, — так и тарелки с бочонками можно делать?

— Можно, — отвечают, — да что-то не получается пока. Только рюмки делает автомат.

Немного успокоился.

После просушки «белье» — белые ошкуренные изделия — грунтуют, чтобы в поры не попадала влага, иначе трещина. Потом опять ошкуривают, замазывают все сучочки, задоринки, три раза покрывают вареной олифой с лаком. Посуда становится коричневая, словно глиняная. А потом уж совсем чудеса: я увидел массу металлической посуды — тарелки, ложки, бочонки — точно такой же формы, что и деревянная. Что это? Образцы? Смеются: это все то же дерево, только в него втерли алюминиевую пудру — будущее «золото».

Теперь начинается самое главное — роспись.

Сердце предприятия — экспериментальная лаборатория. Хозяйка здесь — Нина Петровна Сальникова, заслуженный художник РСФСР, депутат Верховного Совета СССР. Под ее присмотром работают лучшие художники предприятия. Придумывают новые узоры, новые формы, не давая искусству хохломы остановиться, обрасти штампами и перестать быть искусством.

— Потом их роспись идет в цеха, — говорит Нина Петровна. — Но и там их никто не копирует, ведь у каждого свой почерк. Так, как вы держите ручку, как пишете, ведь так никто не пишет? То же самое и художницы.

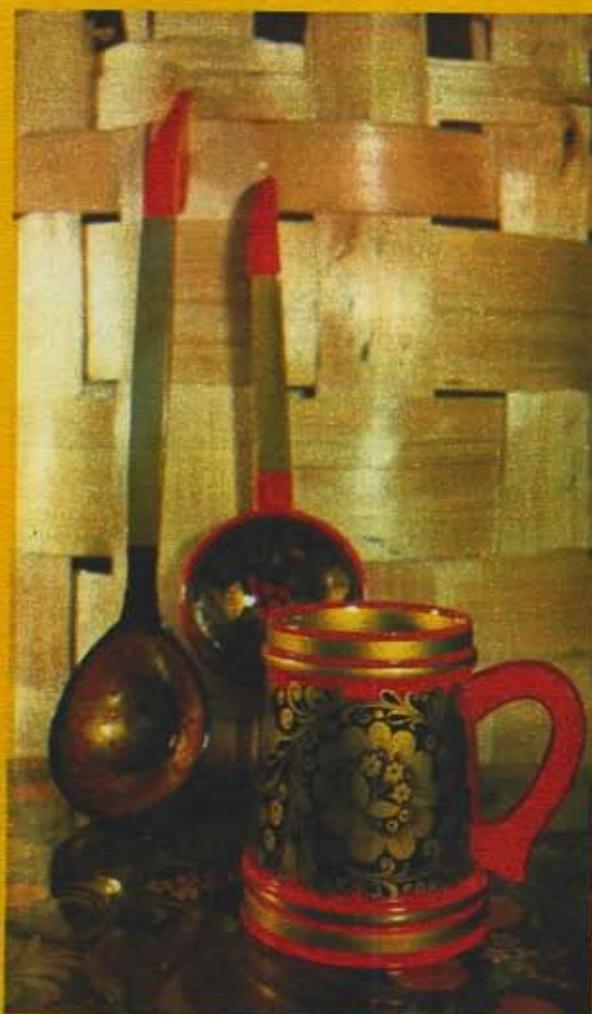
— И по почерку можно определить, кто рисовал?

— Не рисовал, а писал. Да, конечно. Вот это Иванова писала, — она показывает стоящие за стеклом наборы, — это Морозова, это Букова. Какой характер, такой и почерк. Вот смотрите — тяжелы, тверды, даже немного грубоваты рисунок. Чувствуется? А вот мягкий, нежный, лирический, легкий такой, утонченный. Разные люди рисовали, разные художники.

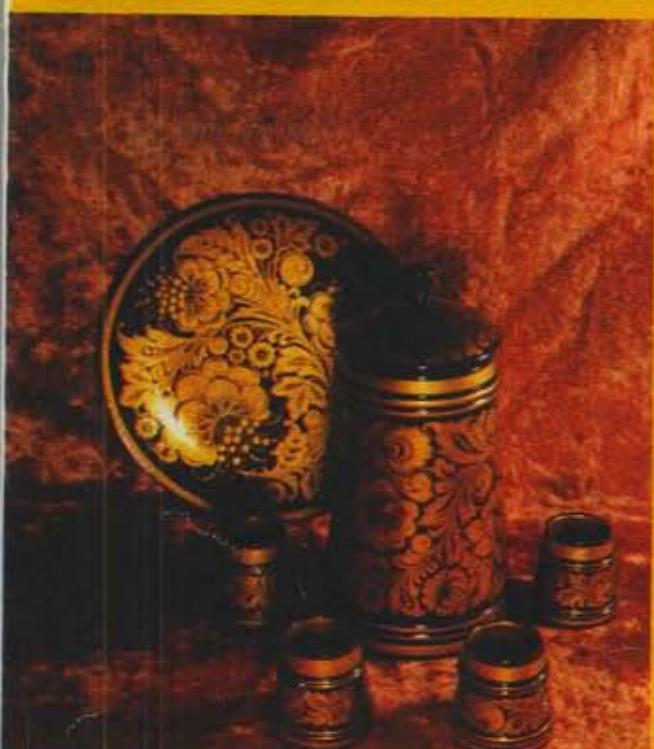
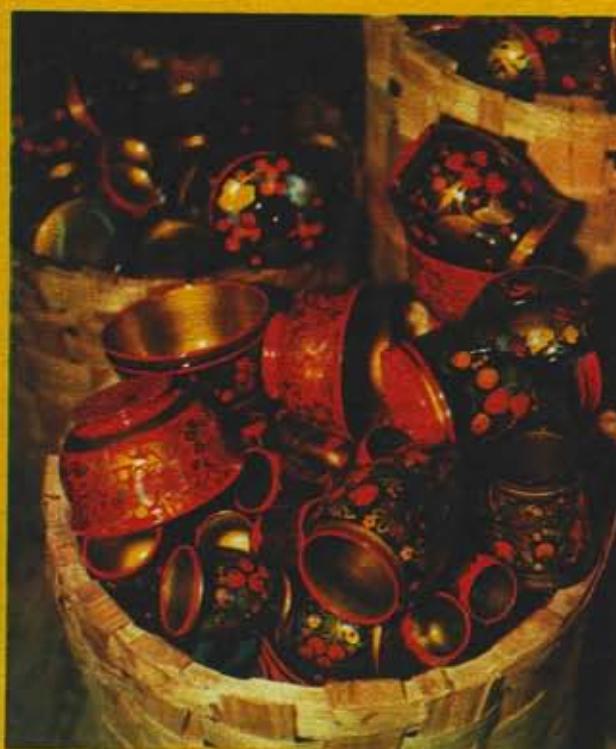
Ну, хорошо: здесь в экспериментальной лаборатории — творческий поиск. Но ведь тот чудесный столик, который стоит у меня дома, — его же не здесь расписывали, а в цехе. Массовое производство искусства — вот что интереснее и загадочнее всего.

Художественный цех трудно с чем-либо сравнить. Это надо видеть. Перед мастерицей на низком столе баночки с красками. Четыре краски: черная, зеленая, красная и желтая. Стол покрыт стеклом, на стекле мазки всех четырех красок: палитра. Сама мастерица сидит на очень низенькой скамейке с удобным углублением, правую ногу, как гитарист, ставит на чурбачок. К колену прижимается расписываемое изделие. Это традиционная поза. В новом цехе — там столы высокие, с перекладинами, сиденья тоже

Продолжение на 32-й стр.



НА ЭТИХ ИЗДЕЛИЯХ ФАБРИЧНАЯ МАРКА — СЕМЕНОВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».



Алексей ГРИБОВ,
народный артист ССР.

КАЖДЫЙ Р

Алексей Николаевич Грибов работал над автобиографией по нашей просьбе. Работа была уже завершена, одобрена редакцией, текст набран, сверстан и поставлен в номер. И тут пришло горестное известие о невосполнимой утрате — Алексея Николаевича не стало.

Автобиография оказалась последним из того, что было создано выдающимся актером. Мы предлагаем читателям рассказ Алексея Николаевича Грибова о себе в том виде, в каком подписал его к печати автор.

Ну, что моя жизнь... Такая быстро-бегущая и неутоляющая. Сколько бы ни было сделано мною раньше, сколько бы ни требовала нынешняя моя жизнь, все равно силы в себе чувствую нерастранные. Но жаловаться как-то не к лицу — ролей было сыграно много, и, работая над ними, я познавал человеческий характер во всем многообразии его проявлений. Из самых разных эпох, сословий, классов были мои герои. Меня спрашивали нередко, удивлялись, откуда у меня знание жизни столь разных типов, как удавалось проникнуть в их суть. Как на это ответить?

Родился я в семье московского шофера в 1902 году. Моя мать умерла очень рано. Вскоре после этого к нам в дом вошла мачеха. Отец занимался нами мало. Правда, когда я подрос, стал приводить к машинам, заставлял их разбирать, чистить. Все надо было делать очень тщательно и аккуратно. Он воспитал тогда во мне если не любовь к труду, то, во всяком случае, добросовестное к нему отношение. Отец был сурового и довольно крутого нрава, и поблажек не давал. Я старался, как мог, но особой привязанности к машинам не питал. В 1910-м меня отдали в городское начальное училище. Эта школа располагалась в Леонтьевском переулке (сейчас улица Станиславского)...

Не получая особого внимания и заботы в семье, я был сполна оделен всем этим двумя своими тетками. Одна из них жила с дедом, бывшим паровозным машинистом, ослепшим в результате аварии. Своей семьей она не обзавелась и всю жизнь посвятила уходу за дедом. Дед был очень религиозен. Вся его природная доброта и душевное богатство были оправлены в строгие рамки церковных заповедей. У него было хоть и светло для меня, но душновато. Веселее и свободнее жилось у другой моей тетки, учительствовавшей в то время в подмосковном поселке Ивантеевка. Она жила вместе с другими учителями в одном большом доме. Они часто устраивали любительские спектакли, вечера. Я всегда с нетерпением ждал каникул, чтобы отправиться туда погостить. С моими тетками связывались у меня и первые посещения театра. Были на опере «Снегурочка» в Большом, потом еще в театре Корша и в театре Струйского. Самы спектакли как-то стерлись из памяти, но тогдашнее ощущение радости и восхищения запомнилось...

Нередко можно услышать от какого-нибудь актера, что он почувствовал

свое призвание еще с детства. О себе я этого сказать не могу. Может быть, бессознательно и шла какая-то подготовительная работа во мне, накопление определенных знаний, необходимых для работы в театре, но тогда я еще никак не связывал свою судьбу с театром.

Когда началась война, отец ушел на фронт, и я должен был сам зарабатывать на хлеб. Отец перед уходом на войну служил шофером у хозяев ткацкой фабрики «Симено и К°». Туда я и пошел работать. Было мне тогда 14 лет. Получил я место в конторе, выдавал сырье и получал готовый материал. Работа была не из легких, приходилось таскать огромные тяжести. Тяжел был и тот жизненный опыт, который я там приобретал. Наблюдал я жизнь и «верхов» фабрики и ее «низов». Пригодились мне потом эти знания. Но тогда я и не думал, что когда-нибудь с пользой для себя буду вспоминать, например, хозяина фабрики. А ведь именно с него я играл Достигаева, и, наверное, этот образ получился у меня во многом благодаря приобретенным в те годы знаниям.

Случались на фабрике и события захватывающие — забастовки и демонстрации рабочих. Бывало по-настоящему страшно, особенно когда стреляли. В один из таких дней я впервые ощутил на себе холод смерти. Бежал я от выстрелов вдоль набережной, и вдруг ледышка попала мне в башмак и обжигающе кольнула. Ну, думаю, все, подстрелили. Казалось, последние силы напряг и побежал дальше, а она, эта ледышка, возвыши и растая. Но потом мне еще долго было не по себе...

После Великой Октябрьской революции я остался работать на фабрике. И вскоре начался для меня как бы новый этап жизни. Поступил я в вечернюю школу-клуб рабочей молодежи. Она находилась на Ордынке. И вот в этой-то школе начались мои первые актерские действия. Там были создан любительский театр из учеников. Руководил им преподаватель литературы Вячеслав Валерианович Барановский, большой почитатель МХАТа. Ставили мы тогда много, и везде я получал роли. «Скупой рыцарь», «Ревизор», «Женитьба», «На дне». Играли, играли... С полной отдачей. Но знал хорошо, что надо учиться. Наш руководитель хоть и ценил меня как актера, но хотел, чтобы я пошел в университет. Я не соглашался. Тогда мне уже стало ясно, что учиться мне нужно в театральной студии. Спорил он со мной, но в то же время как-то и поддерживал. Трудней было с отцом. Тот как отрезал: «Никакого театра!» — так я и оказался без дома. Выгнали он меня.

С Барановским до конца его жизни остались большими друзьями. А друзей у меня очень-очень немного. Нельзя сказать, я, наверное. Вячеслав Валерианович верил в мои силы с самого начала, с того самого начала, когда мне вынесли такой «приговор»: «Не нужны нам такие! Куда нам такие!» Этими словами встретили меня, когда я в первый раз попытался поступить в Мансуровскую театральную студию. Не знали они там, что со мной делать.



Фото Игоря АЛЕКСАНДРОВА

Пришел я к ним в сапогах, в кепке, шинель еще, помню, была на мне какая-то. Посмотрели они на меня: тип им неподходящий — и, не дав ничего прочесть, отказали. Может быть, и обидно мне было, но какого-то там удара, потрясения я не испытал. Иллюзий я себе никогда не строил. Знал и чувствовал, как и каким меня воспринимают люди. Ждать от них иного поэтому и не стоит, переубедить словами — напрасный труд. Можно лишь тихо, но настойчиво утверждать в разумных пределах свое. Но бывало, что предел наступал и моей выдержке и дисциплинированности.

Случился у меня в театре один крупный конфликт, воспоминание о котором до сих пор, как плохая погода, заставляет ныть давно отболевшее. Произошло он во время работы над «Свадьбой Фигаро». Посторил я не больше, не меньше, как со Станиславским. Пришел он посмотреть очередную репетицию — а она, наверное, уже

была двухсотой — и решил, что меня надо снять с роли садовника. Почему так получилось, что тому виной — разбираться сейчас не хочется. Память о прошлом, связанном с такими величими людьми, как Станиславский, должна оставаться как можно более чистой. Ну, а тогда я прямо сказал: «Несправедливо это!» — что, конечно, привело ему не по нраву. А потом, когда снова вдруг предложили эту же роль, я ответил: «Не буду!» А мне: «Будешь!» А я говорю: «Не буду!» И в ответ получил: «Мальчишка!» После этого Станиславский лет пять со мной не работал, не брал ни на одну роль. А потом все-таки признал и дал мне Мигаева в «Талантах и поклонниках».

Мне думается, что обсуждать, справедливо или несправедливо отношение к тебе людей, — дело бессмыслиц и подчас даже пагубное: может так вдруг всколыхнуть гордый, так захлестнуть душу обидой и болью, что не станет сил продолжать свое дело. Так

АЗ—ВПЕРВЫЕ

вот, повернув от дверей Мансуровской студии, пошел я в студию имени Горького. И тут получилось—приняли. Но зато очень скоро я сам оттуда ушел: мне сразу же стали там давать роли в спектаклях, а я хотел учиться, а не играть. Но со следующего года начал снова испытывать свою судьбу. Решил подряд сдавать во все студии МХАТа. Надеяться я ни на что не надеялся, это было для меня своего рода пробой сил. Экзамены держал сначала во Вторую студию. И совершенно неожиданно для себя узнал, что принят. Но еще оставались МХАТ и Третья студия. Я пошел на экзамены и туда. Но так случилось, что во МХАТе меня встретила Телешева, которая знала, что я принят во Вторую студию. Она меня отправила прочь, сказав, что раз меня уже приняли во Вторую студию, то незачем сдавать в другую. Но я не отступил. Пришел на предварительный экзамен еще раз и попал к Успенскому. Он дал мне допуск на решавший экзамен со Станиславским. Но там я встретился с двумя своими «старыми знакомыми»: Телешевой и Лазаревым (из Горьковской студии, откуда я ушел еще раньше). Поддержки с их стороны мне ждать не приходилось. И, конечно, принят я не был. Оставалась теперь Третья студия. По правде говоря, именно туда меня больше всего тянуло. МХАТ казался в то время далеким и недоступным. Вахтанговский же спектакль «Принцесса Турандот» покорил меня тогда совершенно. Но когда я пришел сдавать экзамены, то увидел в приемной комиссии опять тех самых людей, которые отвергли меня год назад в Мансуровской студии. Доброжелателями моими они, конечно, быть никак не могли. И тем не менее я был принят, хотя и не при общем согласии. Но это и неважно. Главное, я оказался в настоящей, серьезной актерской школе. Сочетание дисциплинированности и свободной импровизации, глубины и легкости—то, что мне так нравилось в спектакле «Принцесса Турандот» и отчасти в «Чуде святого Антония»,—было и в работе самой школы. Учеба там мне никогда не была в тягость, хотя занятия шли вечерами, а днем я все еще продолжал работать на фабрике. Участвовали мы и в спектаклях студии. Но это не только не мешало, а, наоборот, помогало более глубокому овладению актерским мастерством.

В студии нас знакомили с различными сторонами жизни спектакля. Мы и светили, и убирали сцену, и устанавливали декорации. Я играл и в оркестре—в том самом знаменитом оркестре, в сопровождении которого шла «Принцесса Турандот». Играли я на барабане.

Проучился я в этой студии два года. На втором курсе Горчаков поставил с нами спектакль «Битва жизни» по Диккенсу. Я получил роль адвоката. Спектакль имел большой успех. О нем стали говорить в театральных кругах, и вот на один из спектаклей пришел Немирович-Данченко. Видимо, и на него спектакль произвел хорошее впечатление, так как он предложил Станиславскому взять его участников на

третий курс школы МХАТа. Вот так я и оказался в театре, который мне до тех пор казался недоступным.

Как-то так случилось, что в молодые мои годы мне давали роли старииков. Старика крестьянина из «Воскресения» Толстого я играл, когда мне было 28 лет. Разница в годах большая, но тем интереснее мне было создавать этот образ. Ведь в каждом из нас одновременно может быть много и разных возрастов и различных характеров. Природа человека богата, но определенные обстоятельства выявляют то или иное содержание его натуры, оставляя остальное как бы в зачаточном состоянии. Актер все это должен в себе обнаружить, уметь развить и воплотить в свой театральный образ. Тут ему помогают, конечно, и воображение, и знания, и жизненный опыт. А жизненный опыт мой уже тогда был довольно богат. Каких только людей я не наблюдал еще с детства, в каких только обстоятельствах я не оказывался! Приходилось мне жить в самой разной обстановке: в суровости и жестокости отцовского порядка, в религиозном тихом доме деда, в веселой и артистической обстановке, окружавшей мою тетку в Ивантеевке. Это кроме ярмарок, фабрик, улиц... И вот в этой кладовой воспоминаний, мыслей, ощущений и выискиваешь что-то подходящее для своей роли, вот этим-то наполняешь и молчание и слово своего героя. Ведь когда я играл Чебутыкина в «Трех сестрах», ни о каких высоких философских проблемах не размышлял и не старался заставить себя думать о жизни Чебутыкина, его страшания и проблемы. Больше думал о своем, пережитом, соответствующем, конечно, чебутыкинской тоске и не-прикальности. Сидит он, например, и молча плачет. Спрашивают меня, о чем я думаю, когда плачу, то есть когда Чебутыкин плачет. А я говорю: «Думаю, когда спектакль кончится». Не сказал бы Чебутыкин, о чем он плачет. Что я тогда думал на самом деле, я бы никогда не сказал. Зачем открывать, что у меня там за боль? Это мой секрет.

Но у актера, конечно, должно создаться общее понимание, ощущение роли, непосредственно не связанное с его личными переживаниями, личным жизненным опытом. Тут проявляется нравственная, философская позиция актера. Ведь что важно понять в Чебутыкине: да, он несчастен, но одна из главных причин его несчастия—бездейственность, невозможность и неспособность к приносящему истинную пользу труду. Это должен актер донести до зрителя.

Когда я играл Фому Опискина, очень важно было для меня вызвать в зрителях глубокое к нему отвращение, в то время как на сцене все или почти все его обожают и боготворят. Опискин—тиран хитрый, лукавый, требующий от своей жертвы любви и преклонения. Его влияние на людей ядовитейшее и страшнейшее, делающее окружающих духовными калеками. Никакого сочувствия, никакой симпатии не должен вызывать Фома в людях. Понять его природу надо, но сочувствовать—никогда...

Однажды после спектакля «Вишневый сад», где я играл Яшку, получаю вдруг записку от своей давней поклонницы: «Теперь я вас просто ненавижу!» Лучшей похвалы за Яшку получить я никак не мог. После этой записи стало совсем ясно, что образ у меня получился. Если бы то же самое услышал от зрителя после «Села Степанчикова», я бы только рад.

Раскрыть в своих работах разнообразие человеческих характеров—одна из интереснейших задач для актера. Трудности, связанные с созданием образов людей, весьма далеких от моей жизни или просто даже чуждых мне,—эти трудности никогда меня не отпугивали, а, наоборот, делали работу над ролью еще более интересной и притягательной.

Поиски нужных приемов, точных средств выразительности в самых разнообразных источниках, в книгах, в живописи, в воображении—процесс очень непростой, требующий большой отдачи и настойчивости... И, безусловно, одной из наиболее сложных была для меня работа над образом Ленина. Воплотить на сцене легендарный и в то же время очень человеческий образ вождя великой революции—задача чрезвычайно ответственная, тут нужно найти такие краски, такие приемы, чтобы не создалось ходульного, однозначного, как бывает на плакате, образа.

«Не надо стараться изобразить Ленина мягким и добрененьким,—говорил Немирович-Данченко на репетициях.—Это легче всего. Это само придет. Не должно быть ни в коем случае сентиментальности. Главное—показать огненную работу его мысли. Мысли-молнии».

Репетиции «Кремлевских курантов» начались накануне войны. В эвакуации мы продолжали работу. Премьера состоялась 21 июня 1942 года в Москве. В следующем году мне было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Делали мы, конечно, свое дело и во время войны. Людям нужен был театр и в эти суровые годы. Но все равно что-то ныло в душе оттого, что я, здоровый мужчина, сижу в тылу. Помню, как однажды, после спектакля «Кремлевские куранты», я случайно услышал слова какого-то солдата: «Теперь, когда увидел Ленина, как-то уверней на фронт идти». Вот тогда я по-настоящему почувствовал свою необходимость. Выходит, что недаром прошла долгая, кропотливая работа над образом Ленина.

Тут, конечно, большую помощь оказал Немирович-Данченко. Он был требовательный и взыскательный режиссер. Но в то же время прекрасно чувствовал и понимал актера. Он не только вел или, как бывает, тащил актера за своим режиссерским плащом, но и сам шел за ним, доверял актерскому чутью и интуиции. Не помню, чтобы когда-нибудь во время нашей с ним работы возникла во мне обида или боль. А ведь это бывает не так уж часто...

Театр всегда был моим основным делом, но я не мог оставаться безучастным и к кино. Правда, сам я ролей в

фильмах не искал, но никогда от них не отказывался. Однако думаю, что кино пришло в мою жизнь немного поздновато: основная часть сил и времени была отдана театру, и моя актерская техника строилась в соответствии с особенностями театрального искусства, а не кинематографа. Конечно, сниматься было чрезвычайно интересно, открывались новые возможности актерского мастерства. Но не думаю, что здесь я сделал то, что мог бы, сложись как-нибудь по-иному моя встреча с кино.

Очень люблю работу на радио. Убедить слушателя словом, интонацией, вздохом, ритмом речи очень нелегко, и этого я старался добиваться.

Вообще спектакль я скорее воспринимаю на слух. Чуточку фальшивое звучание—это для меня верный признак неверной работы. Актеры в спектакле—как музыканты в оркестре, у каждого своя партия в общем звучании. Только правильно найдя свое место в нем, твердо уяснив себе, когда ты должен солировать, а когда уступить место партнеру, только тогда можно правильно сыграть свою роль, ведь актеры в спектакле—это всегда ансамбль.

Однако невозможно четко определить какой-то один, неизменный метод работы над ролью. Каждый раз, чтобы дойти до сути образа, представить его себе как реального человека, которого знаешь досконально—все его привычки, повадки, внутреннюю логику существования,—приходится начинать все словно бы впервые. В одних случаях пользуясь главным образом собственным жизненным опытом, тем, что видел сам, о чем имеешь самое непосредственное представление. В других случаях полагаешься больше на интуицию и воображение. И тогда сквозь «магический кристалл», о котором писал Пушкин, начинаешь различать черты незнакомого тебе ранее человека, образ которого предстоит создать на сцене. В этом прозрении помогает самое разное. Однажды во время работы над образом патриарха из «Бориса Годунова» я зашел в Третьяковскую галерею. Бродя по ее залам, оказался вдруг перед картинами Нестрова. В них была та атмосфера, тот дух Древней Руси, которым я должен был наполнить свой образ. Они мне несказанно помогли в этой работе.

Самыми большими помощниками были мне всегда интуиция, сердце и фантазия. Как они делают свое дело—объяснить, вероятно, невозможно: слова тут могут лишь запутать или даже ненароком налгать. Поэтому научить, как быть актером, нельзя. Можно подсказать, помочь ученикам раскрыть в себе своих «помощников», дать определенные навыки актерской техники. Но создать из человека актера невозможно. Им надо родиться. А раз уж родился актером, то твоя судьба определена. Какие бы обстоятельства ни гнали тебя от театра, в конце концов судьба все равно к нему приведет. И жизнь моя—тому подтверждение.

Литературная запись
Марии БОГДАНОВОЙ.

СТРОЙКА, КАКОЙ ОНА СНИТСЯ



МОСКВА. УЛИЦА. 1966 г.



НОВОСИБИРСК. 1960 г.

Этюды
о художниках

Илья ФОНЯКОВ

«Я хотел бы жить в этом городе...» — написал в книге отзывов один из посетителей выставки художника Николая Грицюка. Еще давней, первой персональной его выставки в столице. Той выставки, где преобладали мотивы Сибири, Новосибирска — города, с которым связаны многие годы творчества мастера.

«Я хотел бы жить в этом городе...» Город художника ничуть не походил на «голубые города» из романтической песни. Не был он похож и на тот город, который изображают на сувенирных открытках. Художник не выбирал «видок» покрасивее, не искал привычно выигрышных ракурсов. Но город представлял в его акварельных листах молодым, динамичным, полным энергии и мощи.

Вначале это был совершенно конкретный, «узнаваемый» Новосибирск, знакомые дома и улицы — хотя, надо сказать, художник и тогда не любил прямолинейных вопросов: «Постойте, постойте, а какое же это именно место?» Его интересовала не топография, а душа города. Города и Времени. Потому что первоисточник вдохновения художника — миллионный, а теперь уже без малого полуторамиллионный моло-





НИКОЛАЙ ГРИЦЮК.

дом город—конечно же, слепок своего времени, своего века.

Красив ли Новосибирск? В первые месяцы моего знакомства с ним мне было нелегко ответить на этот вопрос: после строгой классики Ленинграда, города моего детства и юности, Новосибирск удивлял и ошеломлял, привыкнуть к нему было трудно. Николай Грицюк открыл для меня красоту его, помог полюбить этот город. Я говорю: «открыл для меня», «помог мне». Но, думаю, так произошло со многими. И думаю также, что в этом смысле работа художника имела огромное гражданское значение.

В его «новосибирской» серии было несколько излюбленных мотивов. Один из них—контраст между старыми, еще полудеревенскими улочками бывшего Новониколаевска, деревянным «самостроем» военных лет и громадами новых кварталов. Грицюк возвращался к этому контрасту много раз—и ни разу не повторился. Столкновение старого и нового представляло перед нами то напряженным и драматичным, в резком свете закатного солнца, то буднично-деловитым, в сереньком освещении пыльного полдня, то окрашенным в приглушенно-лирические тона, ибо ведь и старенькие домики с голубыми ставнями—это не рухлядь, которую нужно смети как можно скорее, это и наше пережитое, наша память...

Был другой любимый мотив: ступенчатые контуры новостроек, сквозные их окна, марсианские фермы башенных кранов... Сейчас так пробуют писать многие и у многих получается, но тогда, в пору первых наших жилмассивов, Грицюк был одним из первооткрывателей этой «непреднамеренной» красоты. Любил он поместить на первом плане «раскрытую» сверху (и чуть сверху увиденную) коробку недостроенного пятиэтажного дома, озарив ее вечерним солнцем. Видно: конец рабочего дня, но еще трудятся на солнечной площадке строители. Почти физическое ощущение роста исходит от самого здания, а вся картина словно бы излучает энергию и жизненную силу. Может быть, я пристрастен, но мне кажется: от всего на них похожего «строительные мотивы» Грицюка отличаются именно своей одухотворенностью, тем, что все на них живое, я бы сказал—заразительно живое. По крайней мере я четко помню: придиши, бывало, к нему в мастерскую, побудишь часок около грицюковских акварелей, поговоришь или помолчишь с их автором—и уходишь другим человеком, словно от аккумулятора подзарядился. Нет, недаром бродил художник по новостройкам, недаром в зимние месяцы таскал за собой на санях печурку, чтобы не стыли пальцы на сибирском морозе!

Художник на всю жизнь остался верен своему городу, хотя в дальнейшем собственно Новосибирск писал мало. В разные годы появились у него «московская» и «ленинградская» сюиты, цикл «По старым русским городам», серия «Кузбасс». У каждой сюи-

ты, каждой серии—свое лицо, и всегда индивидуальность художника узнаваема. Узнаваем город. Город как музыкальная тема, как обобщение. В этих картинах есть и ощущение города и мысль о городе. Современном городе как живом человеческом сообществе. Огромном. Динамичном. Завораживающим. Тревожном. Да, и тревожном тоже. Еще не входило в моду слово «экология», еще не появлялись в нашей печати статьи о стрессах, подстерегающих горожанина, об опасности «одиночества на миру», а все это уже так или иначе «читалось» в полотнах Грицюка. Но читалось в контексте, в тесном сплаве с чувством восхищения трудами рук человеческих, с чувством любви к городу, средоточию и хранителю культуры, без которого художник не мыслил свою творческую жизнь.

Я хотел бы обратить внимание на акварель «Зима и стройка». Грицюк не принадлежал к числу тех художников, которые раз и навсегда «привязывают» себя к одной определенной манере. В один и тот же день он мог написать и классически конкретную работу, изображающую «жизнь в формах самой жизни», и вещь, весьма на первый взгляд условную, но в то же время абсолютно правдивую. Такова, в частности, «Зима и стройка». Что это—пейзаж, а может быть, орнамент со строительными мотивами? Не знаю. Но одно могу сказать с уверенностью, ибо побывал на многих крупных стройках Сибири; ощущение зимней стройки передано предельно точно. Красный кирпич и голубой снег. Красные фермы и голубой заиндевевший металлический механизм. Четкость, чистота, свежесть. Такой она вспоминается, стройка. Такой она снится. И хочется выправить командировку и мчаться куда-нибудь в Усть-Илимск или в Мирный.

А Кузбасс у Грицюка могуч, но красками небогат, порой сумрачен и загадочен. И верно, таков он и есть, угольный, шахтерский край, ворочающий миллионы тонн блестящего черного камня, край, где все громадно и основательно. И вдруг после всего этого—ярчайшая, прямотаки феерическая по краскам работа «Льется металл»...

Поразительным представляется мне еще один лист этого цикла—«Кузбасские ритмы». Казалось бы, никаких знакомых контуров мы не находим здесь—ни запсибовских домен, ни шахтных копров и терриконов. Все это у Грицюка есть, но в других работах. А здесь лишь какие-то смутно угадываемые вертикали и горизонтали. И вместе с тем какой точный «портрет» земли Кузнецкой! Смотрю—и вспоминаю дымное небо над индустриальным краем, и язычки пламени у коксохимических батарей, и кирпичные корпуса—кирпич не яркий, каким он бывает на новостройке, а потемневший, закопченный, сумрачный. «Кузбасские ритмы» полны заразительной энергии и мощи, как всегда у Грицюка...

Я пишу эти строки и вспоминаю, как, бывало, сам художник слушал наши дискуссии возле его работ. Мы наперебой, загораясь, объясняли друг другу, что мы «прочли» в том или ином акварельном листе, а он помалкивал и смеялся: я, мол, сказал, ребята, все, что мог, а уж дальше ваше дело, толкуйте. И всегда оставалось ощущение, что любое, даже самое умное толкование неизмеримо беднее, нежели образ, созданный художником.

Его многие любили и хвалили, у него было много выставок, о нем писали книги, но приходилось ему встречать и непонимание и обиды. Однако самым суровым критиком его творчества был чаще всего он сам. Только посредственностью неведомы сомнения в себе, талант же истинный без них немыслим, они в природе его, ибо он много с себя спрашивает. «То ли я делаю? Так ли?» В лучшие дни (по счастью, немало было таких дней!) создававший по нескольку (до десяти!) листов, Грицюк порой на многие месяцы «замолкал», не мог даже

взяться за кисть, после чего следовал новый творческий взрыв. Это было бескорыстное, самозабвенное служение искусству и той правде, которую несет оно людям... Работая с такой самоотдачей, разве мог он думать о том, чтобы позаботиться о своем здоровье? Буквально вынужденный в последнее лето своей жизни отдохнуть несколько дней на берегу моря в Эстонии после блистательно прошедшей выставки в Таллинне, он признался удивленно: «В первый раз узнал, что это значит—отдыхать!»

И сразу вспомнился давний мимолетный эпизод. Шумной дружеской компанией, семьями, мы собирались как-то в воскресенье за город. Собралось было и Николай Демьянович. Собрался—и вдруг махнул рукой: «А, поезжайте-ка вы без меня!» Мы наперебой кинулись уговаривать, а он сказал только: «Ну, какой смысл мне ехать, если я там все равно о своей мастерской думать буду...»

Одной этой фразой он сказал о себе, может быть, самое главное...

А вообще о себе говорить не любил. И не только о себе. Не был оратором. За многие годы никто из нас, его друзей, не припомнит, пожалуй, ни одного сколько-нибудь длинного монолога. Его монологом было творчество. Даже в те годы, когда он возглавлял Новосибирскую организацию Союза художников и по самой должности своей обязан был выскакывать—открывать выставки, принимать участие в обсуждениях,—умудрялся обходиться нескользкими фразами. Нет, не был он оратором. Но странное дело, когда он поднимался, чтобы произнести несколько слов, все замолкали, воцарялась полная тишина. Потому что сказанное им всегда было значительно. И никогда не было случайно.

С ним бывало порой непросто, особенно собратьям по искусству. Он просто не мог сказать о работе товарища не то, что о ней думает. Не принцип соблюдал, не зарок себе дал однажды—просто не мог покривить душой, когда речь шла о творчестве. И ни старые дружеские отношения, ни возраст, ни заслуги—ничто не имело для него значения. Порой мог быть жесток, на него обижались. Но зато и похвалу его ценили чрезвычайно. «Он был совестью нашей организации»,—сказал о нем нынешний председатель Новосибирского союза художников живописец Никольский. К его мастерской тянулись писатели, музыканты, артисты, свои и приезжие, бывали и случайные люди, но случайные не приживались надолго.

Я что-то не припомню, часто ли звучало в его устах слово «талант», которым столь широко и свободно оперирует критика. Художник не любил употреблять это слово всуе. Высшей похвалой, которую от него можно было услышать, было: «профессионально». Как я понимаю теперь, понятие талантливости входило непременным компонентом в его представление о профессиональности.

Дилетанства мастер не терпел... Держал в мастерской проигрыватель с хорошими пластинками, но не выносил любительского тренъяна на фортелиано или застолных песнопений. И вместе с тем как внимателен бывал он к молодым художникам, если в их пусть еще несовершенных работах угадывал искру подлинного профессионализма! Думаю, что и такие категории, как честность и бескомпромиссность (этот слова он тоже нечасто произносил), входили в его понимание художнического профессионализма. Приспособленчество, желание во что бы то ни стало понравиться (неважно кому: руководящему лицу или доморощенному снобу)—удел всего ненастоящего, лишь прикидывающегося искусством. Для художника подлинного это не просто недостойно или предосудительно—невозможно.

Да, не любил он говорить о себе. Если спрашивали, отвечал односложно. Мы знали, что родился он на Дальнем Востоке, вырос на станции Посевной в

Новосибирской области, рисовать любил с детства, но учение пришлось отложить. Офицером-связистом прошел Николай Грицюк по военным дорогам Европы, участвовал в боях, имел награды. Но вспоминал потом об этом редко и скрупульно. После войны учился в Москве, в Текстильном институте, работал в домах моделей Ленинграда и Новосибирска. Нам, узнавшим его уже зрелым художником, трудно было представить себе, что когда-то он занимался моделированием дамской одежды. А он, с годами погрузившись, неторопливо, в моделью, мог вдруг, прищурившись, глянуть на только что сшитое платье знакомой модницы и с профессиональной точностью заметить: «Вот здесь надо бы так... а здесь укоротить немножко...»

Николай Грицюк собрал богатейшую библиотеку изданий по искусству, до скончания знал и глубоко понимал творчество очень многих отечественных и зарубежных мастеров, и никогда его интерес к тому или иному художнику не диктовался преходящей модой. Помню, увидел он у меня альбом репродукций Ильи Машкова—живописца, не слишком близкого ему по манере. Открыл—и буквально впился в одну из картин, где с присущим Машкову мастерством была передана богатая и сумрачная фактура мебели из красного дерева. Вцепился в книгу руками, не захотел отдавать: «Пусть у меня полежит...» Беспрерывно он что-то открывал для себя, в том числе и в уже знакомом.

...Он ушел из жизни в пятьдесят четыре года. Это, конечно же, очень мало, и примириться с этим трудно.

Но остались работы. Огромное количество работ: в мастерской, где ныне работает дочь Николая Грицюка художница Тамара Грицюк, в собраниях музеев, в частных коллекциях. Художник охотно дарил своим произведения друзьям—в этом, конечно же, сказывались и его огромная душевная щедрость и, пожалуй, некая забота о судьбе своих произведений. Ведь, что говорить, положение мастеров изобразительного искусства в этом плане сложнее, чем положение, скажем, автора литературных произведений. Пoэт, напечатав стихотворение в журнале или сборнике, не расстается с ним навсегда. Оно остается с ним—в черновике, в машинописной копии. Другое дело картина. Уходя, она уходит совсем, и лучшие репродукции, фотографии могут лишь напомнить о ней, но не заменить ее. Я представляю себе, как трудно для художника расставание со своим детищем и как поэтому небезразлична автору судьба его работ. Не все приобретут музеи, лишь малая часть приобретенного находит место в их постоянной экспозиции. А остальное?

Николай Грицюк не просто дарил друзьям картины—он формировал в нескольких домах год за годом свои небольшие постоянные выставки. Одна из них—у меня. Несколько «новосибирских» конца пятидесятых—начала шестидесятых годов: старый домик в синих снегах (и смутная громада новостройки на заднем плане, за деревьями), размытый, текущий Академгородок с не достроенной еще коробкой Института ядерной физики, зимнее городское дерево с огромным глазом-сучком, предельно реалистическое и фантастическое одновременно. Несколько московских мотивов, среди которых великолепен лист, навеванный, по-видимому, интерьераами кремлевских соборов,—условный по рисунку, но абсолютно точный по цвету и настроению. Ряд свободных интерпретаций, поражающих богатством фантазии и напряженным внутренним ритмом. Несколько «Букетов»—в последние годы убежденный урбанист, Грицюк все чаще писал цветы...

— Какая красота!—восхликал буквально с порога молодой ленинградский художник, зашедший как-то ко мне и увидевший «Букеты» Грицюка.

Красота не умирает. Правда не умирает. Все, что подлинно, остается с нами.

Чемпионы о себе



Валерий
ХАРЛАМОВ,
заслуженный
мастер спорта.

Однажды прочитал такие строки Шекспира: «Каждый из нас сад, и садовник в нем — воля!» Каждый лепит себя сам. Хотя здесь нужна оговорка: живем мы в обществе, среди людей, каждый из которых и все вместе влияют на нас.

Летом, на даче, думал о новом сезоне, думал и ждал его, ждал с нетерпением: скорее бы на лед. Но начались тренировки, изнурительные, поначалу вдвойне тяжелые, и опять возвращается сомнение: не пора ли? Успокаиваешь себя, скоро, мол, втянешься, перестанешь замечать нагрузки: прошлый опыт, привычность обыденного не только мешают, но и помогают.

В конце августа я уже легко прыгал через барьеры, а всего полтора месяца назад, в середине июля, когда начались первые занятия, я с тихой ненавистью смотрел на эти дурацкие барьеры, на тренера и возмущался: на кой черт он это придумал, ведь ни в каком хоккейном матче не придется мне скакать вот так, как приходится сейчас.

Но спорт уже приучил меня к этому: я знаю, что должен пересилить себя, иначе пиши пропало.

И САДОВНИК В

Вот и в госпитале, начиная ходить на костылях, я знал, что если сегодня пройду сотню метров, до сквера и обратно, то завтра пройду метров на двадцать — тридцать больше, доковыляю уже до проходной и обратно, затем, если выдержу эти сто тридцать метров, мне уже покорятся и две. Позже будешь удивляться: неужели и впрямь трудно было одолеть сто метров?

Спорт воспитывает в человеке умение ценить собственные успехи. Мастер знает, что стоит за ними, какой ценой были добты победы, рекордные для тебя секунды или метры. И коли вложены в них труд, то естественным, видимо, представляется желание мастера удержаться наверху, постоянно выступать на уровне своих лучших достижений. В самом деле, если достиг я чего-то в спорте, то теперь, выходя на лед, хочу доказать и себе, и сопернику, и зрителям, что я не уступил противнику. И хотя соперник, мой опекун, моложе и хотя у него больше сил, азарта, больше энтузиазма и энергии, я могу, я должен это компенсировать не только классом, но и лучшей физической подготовкой.

Сейчас в уровне мастерства спортсмены многих команд высшей лиги уже мало в чем уступают ведущим. Уже нет такого различия в классе, как десять или тем более двадцать лет назад, когда один форвард обыгрывал чуть ли не пятерку соперников. Теперь преимущество в классе сильнейших клубов и лучших игроков складывается из суммы нескольких «чуть-чуть», не сразу заметных, не всем очевидных. Контролируем шайбу в движении мы почти одинаково, бросаем тоже, в сущности, одинаково, хотя у кого-то бросок более силен и скрытен, скорости у нас различаются мало. Однако разница в мастерстве все-таки сохраняется, и потому кто-то из нападающих обводит в лучшем случае лишь одного соперника, а другой может обыграть и двух. Различие в классе особенно проявляется в последние мгновения атаки — один забивает гол, другой — нет: все-таки не хватает чего-то. А вот чтобы этого «чуть-чуть» хватало постоянно, надо столь же постоянно «добавлять» в уровне своей подготовки.

Говорят, мастеру по мере обретения им класса и опыта играть легче. Возможно. Но я этого не чувствую. Напротив, звено Петрова победы достается все труднее. Репутация наша растет, нас — и партнеров моих и меня — хорошо знают, к нам специально присматриваются, приоравливаются к манерам звена, изучают его игру, и поэтому нужно постоянно работать, чтобы по-прежнему в чем-то опережать остальных, в чем-то сохранять свое превосходство. А это непросто. Все чаще не приносит результата обманный бросок, поскольку вратари выучили его наизусть, теперь мне надо бросать и хитро и точно, как и прежде, но и мощно, а для этого опять же нужна дополнительная сила. Стало быть, требуются дополнительные тренировочные нагрузки.

Главное игровое достоинство форварда Харламова, как всегда мне казалось и как объясняли мне мои тренеры, заключается в обводке. В нестандартной обводке, как определил ее Тарасов. Но после травмы я потерял уверенность. Обводка не получась. И журналисты, тренеры писали после венского чемпионата, что Харламов, раньше обыгрывавший и двух и даже трех соперников, теперь чаще всего спотыкается на первом. Правду писали. Так все и было.

Но что значит восстановить обводку? Прежде всего значит смело идти в гущу соперников, искать возможность сыграть сразу против двух опекунов, рискуя получить при этом толчок, удар, ушиб. Я понимал это, заставляя себя идти на столкновение, искать единоборство, но где-то в глубинах подсознания срабатывал инстинкт самосохранения, и я в последнее мгновение уклонялся от самого рискованного решения, не шел в борьбу так, как прежде. Теперь я предпочитал играть в пас, а не в обводку и утратил сначала психологическую уверенность, а затем и навык.

Летом 1977-го все надо было начинать сначала. Пока ждал выхода на лед, терзало опасение, что если начну обводить, то может не получиться. Теперь, после перерыва, вызванного аварией, в которую я попал летом 1976 года, стараюсь обво-

дить как можно больше соперников, стремительно иду в скопление игроков, стараясь побить, потолкаться, чтобы восстановить и ощущение соперника, часто небезболезненное, и уверенность в том, что могу уйти от любого опекуна. Стал чаще забивать, а это, по моим наблюдениям, первый признак восстановления душевного равновесия.

И потому все с самого начала, все с нуля. В команду приглашены известные мастера: Хельмут Баллерис, Сергей Капустин, Сергей Бабинов. Звенья нападающих соперничают за право попасть не только в сборную, но и в основной состав армейцев. Тренер предупредил сразу: все бывшие заслуги — история. Сегодня равны все. А лидеры, знаменитости? Для них только одна привилегия — больший спрос.

Чтобы закрепиться в двух ведущих командах, в ЦСКА и в сборной, надо быть на голову выше тех, кто стремится попасть туда. И мы пыхтим, стараемся, изыгвая под солнцем, кляня тренеров, погоду, хоккей и звезды себя.

Со старыми, хорошо знакомыми тренерами в одном отношении легче. Все-таки они знают своего подопечного лучше, чем новые тренеры, они в тебя верят. И если ты не совсем никудышный, то в сборную попадешь: тренеры на тебя рассчитывают, ибо ты уже выручал их в трудных испытаниях.

Их можно понять: да, не слишком хороши Харламов, не клеится игра в этом сезоне у Александра Якушева, да, чаще, чем прежде, стал ошибаться Валерий Васильев. Все так, все, несомненно, так, но неужели не смогут эти мастера сбратиться, настроиться на десять дней, всего лишь на десять дней чемпионата мира, и еще раз выручить.

Не смогли ни в Катовице, ни в Вене. Не выручили. Хотя хотели, очень хотели. Но желания мало. Нужна и верная тактика, а наша команда, увы, играла довольно однообразно.

Сейчас мы готовились к сезону с другим настроением, хотя поначалу нового старшего тренера Виктора Васильевича Тихонова встретили настороженно.

Нас понять нетрудно. В нашем положении наверняка побывали — в разных условиях и в разное время — все любители спорта. Рабочие, студенты, школьники.

Рабочим приходилось сталкиваться с новым мастером или с новым директором. Учащимся — с новым учителем, с новым завучем. Припомните

ваша чувства, припомните смутное ощущение беспокойства, которое не покидало вас до тех пор, пока вы не разобрались в характере и в требованиях нового руководителя.

Каждый из нас в своих оценках и пристрастиях все-таки субъективен, как бы ни старался он оказаться выше обстоятельств, как бы ни хотел быть предельно беспристрастным в своих умозаключениях о том или ином человеке. Не были исключением и хоккеисты ЦСКА. У нас сложились свои представления о том, каким должен быть тренер. И вот новый человек. Новый руководитель. Явно не похожий ни на одного из своих предшественников. Но тут-то перед нами возник резонный вопрос: если с прежними тренерами мы выигрывали, становились чемпионами, так почему же теперь мы должны тренироваться, готовиться к сезону иначе?

Когда в июле Виктор Васильевич Тихонов сказал нам, что мы будем во время одной тренировки, точнее, в ее конце, пробегать десять раз по четыреста метров, причем каждый раз укладываясь в семьдесят секунд, то мы восприняли это как дурную шутку. А сейчас пробегаем, и ничего, живы.

Заставили себя и, как следствие, преодолели собственную инерцию, собственный скепсис, недоверие к идеям тренера.

Что нас вело? Что заставляло работать на тренировках с полной отдачей сил? И те волевые навыки, которые вырабатывались на протяжении предыдущих сезонов, и понимание необходимости предлагаемых нам новых нагрузок: и я и мои товарищи снова хотим играть в сборной.

Если бы не стремился я стать чемпионом мира, то... Зачем они мне нужны, эти прыжки, зачем нужны сверхусики?! Так себе, на каком-то уровне (надеюсь, выше среднего) сыграл бы я и без борьбы с собой, без этих ста пятидесяти прыжков и десяти забегов на четыреста метров.

Бывают моменты, когда не хочется ни играть, ни тренироваться. Ничего не хочется: глаза не смотрят на лед, на шайбу и на клюшку. Тем более трудно справиться с апатией в неудачном сезоне.

Уговариваешь себя потерпеть час-полтора, со-

браться с духом, с силами и выложиться, по-настоящему поработать на тренировке—так, как следует. Все вроде бы понимаешь, но ничего не получается.

Иногда после проигранного матча, когда мучительно болят мышцы, когда нет, кажется, сил шевелнуть рукой, приходит мысль: все, хватит, пора кончать, пусть молодые побегают. Не пропаду. Не устраиваю ЦСКА—перейду в другой клуб, борющийся за восьмое или девятое место.

Впрочем, здесь, пожалуй, неправ. Сегодня и те команды, что остаются на восьмом-девятом месте, тоже работают необычайно старательно. Проблемы, недостатки в технической и тактической подготовке компенсируют движением, желанием играть, энтузиазмом. Сегодня большой хоккей немыслим без трудолюбия, без волевого начала.

Однако подобные «панические» мысли порождаются лишь крайней усталостью, и, если честно, не хотел бы я, чтобы мне в один «прекрасный» день сказали, что не устраиваю я больше стоящих армейцев.

Нет, пока есть силы, пока хватает характера, будем работать. Бегать, прыгать, таскать штангу, бросать и бросать шайбу в ворота, снова и снова ввязываться в единоборство с соперниками, которые никак не хотят пропускать к своим воротам.

Рижское «Динамо», по рассказам Виктора Васильевича, который много лет работал с этой командой, сто очков даст армейцам по объему тренировочной работы. Тихонов не раз говорил нам, что мы не укладываемся в те нормы, что давно привыкли в его прежней команде. Видимо, это так, иначе чем объяснить, что рижане, уступающие армейцам по подбору игроков, по опыту сражений на самом высшем уровне, по своей технической подготовке, тем не менее регулярно отнимали у нас три-четыре очка в каждом сезоне?

Появляется мысль о важности, о необходимости работать «через не могу»: пример рижан убеждает, тем более что команду эту мы хорошо знаем, знаем, как динамовцы «виснут» на тебе на любом участке поля.

По опыту, по собственному печальному опыту знаем, что нужно постоянно быть в максимально хорошей форме. Раньше, работая не в полную силу, утешали себя тем, что, когда надо будет, собираемся, подтянемся, сыграем. Мы же умеем! И правда, умеем. Но вот сил в последние два-три сезона все-таки не хватало.

Не хочу сказать, что в неудачах сборной виновны нерадивые «звезды», но нельзя не заметить, что ведущие мастера не показали на этих чемпионатах всего, на что они способны.

Возвращаясь к теме моих размышлений, замечу, что есть хоккеисты уже достаточно опытные, сложившиеся, которые освоили своеобразную «тактику активности» в сезоне. Такой хоккеист отлично проводит первые матчи—товарищеские, контрольные или те, что проходят в рамках какого-то предсезонного турнира. Сыграет он так пяток матчей, уйдет в тень, а тренер полон радужных надежд и терпеливо ждет, когда же этот форвард снова блеснет, покажет ту же, что и осенью, великолепную игру.

Долго приходится тренеру ждать! Но на финише сезона, весной, этот герой старта вдруг снова играет просто великолепно, выше всяких похвал. Скажите теперь, возникнет ли у тренера хотя бы малейшее сомнение в том, что этот игрок очень нужен команде? Проходит лето, прекрасно проведены осенние матчи, и... снова до весны ждет тренер, а заодно и мы с ним, когда же заиграет наш партнер по коллективу.

Тренируется этот спортсмен нормально, даже старательно, провалов нет, как нет и нарушений спортивного режима, нет никаких чрезвычайных происшествий, вроде бы и не то что ругать, даже упрекнуть не за что. Вот только голов нет, ну, да это же игра, мало ли что бывает, мало ли как все может сложиться...

В ЦСКА целая пятерка такая выступала. Талантливые ребята, сильные не обделены, техничны, хоккей знают, а нет, не клеилась игра. Я говорю о звене, в котором в разных сочетаниях выступали нападающие Сергей Глазов, Александр Волчков, Юрий

Блинов, Владимир Попов и защитники Юрий Блохин и Алексей Волченков. Вот, в частности, Волченков, многократный чемпион страны, периодически играет и во второй сборной, а мастерство не растет. Почему? Неужели не гложет совесть—ведь стыдно уже отсиживаться за спинами Александра Гусева, Владимира Лутченко, Геннадия Цыганкова!

Да и мой сосед по комнате, с которым я вместе живу во время тренировочных сборов ЦСКА, Владимир Попов дал хоккею далеко не столько, сколько можно от него ждать. И тренируется старательно, и талантлив, и быстр, и «головка хорошая», как говорят хоккеисты, то есть соображает на поле хорошо, и тем не менее...

Поминаю собрания команды трех-четырех последних лет. Как ЦСКА проиграл, так тут же выясняется, что, по мнению старшего тренера Локтева, звено Петрова что-то не так сделало. То, дескать, плохо тренировались, то на матч не настроились, то Харламов слишком многое себе позволял.

Мы однажды просто взмолились:

— Ну, Константин Борисович, сколько же можно? Неужели во всех поражениях только первая пятерка виновата?

Локтев от ответа, в сущности, уклонился.

А вот третью пятерку не ругали. Не за что. Все у них в норме. Голов нет? Так что с них спрашивать, когда звено Петрова да и Викулов ничего не забывают. А уж они-то—олимпийские чемпионы, заслуженные, маститые...

Когда же выигрывали, то все были равно хороши. Все одинаковые медали чемпионов страны получали. Что Петров с Михайловым, что Блохин с Глазовым. Хотя и не одинаков был их вклад в достижения команды. Хотя по-разному проявлялись игровые качества хоккеистов, несхожим было их умение тренироваться и бороться за победу. Более молодые уступали старшим настойчивости, в искусстве идти к намеченной цели.

Это было и обидно и непонятно. Тем более непонятно, что есть в нашей команде ветераны, по игре, по отношению к делу которых дебютанты могли бы сверять свои шаги в большом спорте.

Среди этих ветеранов Борис Михайлов и Владимир Викулов.

Михайлов постоянно на виду, и потому нет нужды рассказывать о том, как относится он к команде, к хоккею, как тренируется и играет Борис в последние годы, когда стали именовать нашего неутомимого капитана ветераном.

Викулов после ухода из хоккея Анатолия Фирсову играл с разными партнерами и в ЦСКА и в сборной, играл и со мной и с Сашей Мальцевым, меняясь один за другим нападающие, пока, наконец, Анатолий Владимирович Тараков, работавший с командой уже последние месяцы, не догадался собрать в одно звено Бориса Александрова, Виктора Жлуктова и Викулова.

Гроссмейстер хоккея уверенно вел молодых за собой, отдавая, если так можно выразиться, нравственный долг коллективу, тренерам, Анатолию Фирсову, который десять лет назад вот так же внимательно опекал его, тогда совсем молодого хоккеиста.

Звено росло, хотя не все было гладко.

Александрова много ругали, как ругают и сейчас, он заслуживает те упреки, которые потом ему приходится выслушивать. И все-таки мне хочется верить, что Борис, которому теперь двадцать два года, который уже успел стать олимпийским чемпионом, все-таки проявит и такие черты характера, как истинное уважение к товарищам, к тренерам, к хоккею, к себе, наконец. Поймет, что надо работать и работать, если хочет он достичь Бориса Михайлова или Владимира Петрова.

Как бы там ни было, Викулов поднял звено, тройка начала претендовать на право выступать в сборной, но в Инсбрук молодых взяли без Викулова, потом Виктор Васильевич Тихонов вернулся Владимира в сборную, он сыграл на турнире в Кубке Канады, сыграл здорово. Однако в конце прошлого сезона Локтев перевел Володю в третье звено, снова к молодым. Викулов играл отлично, ничего не утратив из своего мастерства.

В новом сезоне Викулов играет с новыми партнерами. Во многих матчах просто отлично играет. Это и есть сила воли. Это и есть характер.

У Михайлова и Викулова хватает терпения, настойчивости. Они остаются и после тренировок, когда менее именитые уже устали тянуться в душу. А они бросают и бросают шайбу в ворота.

Такие игроки, как мне кажется, очень нужны команде. Ветераны влияют на молодых, помогают им верить в себя, в свою судьбу.

Их игра, их характеры—живая иллюстрация к утверждению Шекспира о том, что каждый из нас—сад, где садовник—наша воля, наше желание добиваться намеченной цели.

Фото Григория ТЕРЗИБАШЯНЦА



Город приходит!

Братья ВАЙНЕРЫ

ПОВЕСТЬ

1. Рита Ушакова

— Э-ах, зимой и летом!
Зимой и летом: тара-ра-ра!..
Опять—двадцать пять!

У этой песни улюлюкающий ритм, бодрая залихватственность. Неравномерными, резкими рывками она вышвыривает меня из постели по утрам, каждая нотка ее выбрублена в подкорке, словно гранитная партитура моих невыполнимых обязательств. Я эту песню ненавижу.

Неразумное, конечно, чувство. Это ненависть колодочника к своей цепи. А ведь если бы однажды утром я вдруг не услышала этого развеселого напева, все полетело бы кувырком. Я медленно перехожу к яви, у меня долгое просоночное состояние, и без жесткого графика радиоанекдотов я обязательно потеряла бы темп. Пока актриса заливается-хочет над анекдотом, прочитанным ей актером, я включаю электрическую плиту—она так медленно разогревается,—ставлю кофейник и иду умываться. Корзина для белья уже полна, завтра после дежурства надо затеять стирку. С утра почему-то и свет в ванной тусклый. Я смотрю на себя в зеркало, у меня еще есть время, я не выбилась из графика: по радио актриса интригующим голосом задает партнеру вопросы: «Знаете ли вы, что?»

Ну, Рита, довольно? Вот эти две морщинки у глаз старые, а вертикальная складочка на щеке все глубже, глубже. Альперович утверждает, что я часто поджимаю губы. Я, наверное, действительно становлюсь злой старой каргой. Через год будет тридцать, для женщины это возраст серьезный.

Вода холодная, сердитая, от нее розовеет бледное со сна лицо, отлегает от сердца беспричинная досада.

— Мама! Коте-о-онок!—проснулся Сережка.
Он сидит в кроватке и рассматривает свои ноги.

— Слушай, Котенок, мне приснился удивительный сон. Ко мне приходила лиса с зеленым хвостиком. Рыжая, а хвостик зеленый. Ее, наверное, дразнят...

Счастливый человек Сережка. Ему снятся цветные сны.

— А о чём вы с лисой толковали?

— Ни о чём. Я ей сказал, чтобы она жила у нас дома, я ей сказал, что ты, Котенок, добрая, что ты разрешишь, но лиса ничего не поняла...

Шипит вода в кофейнике. И юморист на радио с трудом удерживается от смеха, читая собственный рассказ. Времени в обрез.

— Одеваешься, сынок?

— Ага. Котенок, мы с Сашкой Трескиным решили, что я буду дракон...

— Драконом?

— Да, мне нравится быть драконом! Драконы ведь бывают и добрые?

— Безусловно. Я знакома с массой добрых драконов. Вставай, дракончик, опоздаем в сад...

На лопатке у дракона большой синяк.

— Что это у тебя, дракон?

— Укусок. Сашка Трескин меня цапнул.

— Сильно ревел?

— Нет, не очень. Я его тоже куснул.

— Стыдно ведь, а?

Дракон задумчиво смотрит на меня из-под шапки светлых, почти белых волос, неспешно говорит:

— Я уже начинаю переставать кусаться.

А на радио пока что иссякает иностранный юмор, и вот-вот грянет снова «Зимой и летом»—они повторяют песню в конце передачи, будто боятся, что я с одного раза не запомню все слова.

Наливаю себе большую чашку кофе, делаю первый, самый сладкий, самый долгожданный глоток, а кофе густой, крепкий, непротяжно-коричневый, горячий, со светлой плотной пенкой, в нем все ароматы тропиков, и в легком облачке пара над чашкой—прозрачный ветер дальних странствий, в его горько-сладком волшебном вкусе—успокоение, радость и сила. И закуриваю сигарету.

Это лучшие десять минут предстоящих суток. Я сижу на кухне у окна, пью кофе, покуриваю неспешно сигарету, смотрю в залитое дождем окно, и сумерки становятся все жиже, и четче костлявая чернота уже облетевшего тополя, слушаю, как уютно сопит и бормочет одевающийся дракон, и думаю о том, что сегодня предстоит долгий и трудный день; о том, что надо вынуть из морозильника мясо—вечером, после садика, мать нажарит котлет дракону и себе; и о том, что надо выкроить

сегодня время написать замечания к автореферату Альперовича. Хорошо бы сдать в химчистку мою куртку и Сережкину шубу, хорошо бы позвонить в редакцию «Морфологии», узнать, почему так долго нет корректуры, надо созвониться с Майей—достать для матери лекарство «Сустак-мите», и оплатить бы счет за квартиру, и надо бы сдать в профком отчет по подписке на газеты, и хорошо бы еще...

Кофе прекрасен. Прихлебывая маленькими глоточками, я вспоминаю, как моя шефина Агнесса Петровна, в очередной раз объясняла мне, какая растяпа и дуралей ее сын, с возмущением спрашивала: «Рита, вы слышали такое? Он подает жене кофе в кровать! Вы слышали такое?» Кофе в кочечку—это действительно недурно. Это же ведь просто человеческая модель, тут ведь и пояснять ничего не надо: женщина, которой муж подает кофе в постель. Прекрасно, я бы так хотела, чтобы мне хоть раз в жизни подали кофе в постель! Но для подобной жизненной модели надо родиться. Создать ее искусственным путем, наверное, невозможно, да и организовывать кофе в постель—это уже скучно.

В дверях появляется дракон и строго спрашивает:

— Ты мне уши сделала?

— Какие еще уши?

— Заячьи. У нас будет утренник, и я буду зайцем. Но я забыл тебе сказать вчера...

— Ну, а откуда же мне знать про твой праздник и заячьи уши? Ты сам и виноват, если забыл. Придется тебе быть на утреннике без ушей.

Глаза у дракона становятся блестящими, в них мгновенно вскипят слезы, и сердито краснеют, как у маленьких, брови.

— Я однажды буду на утреннике никто. Все дети будут одеты зверями. А я буду никто...

— Давай я тебе дам свою белую шапочку и стетоскоп—ты будешь доктор Айболит.—Каждый раз, когда я опаздываю и выясняется, что дракон забыл нечто самое обязательное в саду, мне приходится проявлять чудеса сообразительности и быстромыслия.

— Не хочу,—отрезает дракон.—Айболитом будет Шура-Бура, ей даже из ваты бороду сделали.

Чертыхаясь потихоньку, я выхвачиваю из своего чемодана бинт, вату, ножницы, не могу найти второпях нитки и наперсток, выкраиваю два длинных лоскута, набиваю их ватой, торопливо сшиваю—получаются два ненормальных бледных банана, наспех прихвачиваю их к своей докторской шапочке, напяливаю на дракона это сооружение, шапка великовата, быстро подшипа скрученные из бинта тесемки-завязки. Вроде бы сойдет за заячьи уши.

— Ты как думаешь, дракон?

— Ладно уж,—милостиво соглашается дракон.

Без пяти восемь, на улице совсем рассвело. А дождь, видно, зарядил надолго.

— Ты бутерброд съешь?

— Нет, в саду не разрешают наедаться перед завтраком.

Мы начинаем одеваться. Дракон пыхтит, не может натянуть свой сапожок, а я не могу найти его шапку и варежки.

— Сережка, ты не знаешь, куда бабушка положила твою шапку и варежки?..



— Не знаю.—Он облегченно вздыхает, натянув голенище.

Я мечусь по квартире, господи, сколько раз говорено, чтобы его вещи всегда лежали на месте! Ага, вот они, в его комнате, на стульчике. Натягиваю плащ, еще раз надо проверить. Сумку взяла, паспорт на месте, деньги, чемодан здесь, авоську захватила, зонтик в руке, ключи—вроде все в порядке.

— Ну что, дракон, в путь?

— В путь.—Пока я запираю дверь, он сообщает:—Я новую песню знаю...

— Какую?

Дракон катится по лестнице пушистым шаром и тонко голосит:

Не плачь, девочонка, пройдут дожди,
Солдат вернется, ты только жди...

На улице резиновый ветер упруго подхватывает нас и не дает раскрыть мой распрекрасный складной японский зонт, спицы цепляются друг за друга, вот-вот прорвут тент. Дракон говорит снисходительно:

— Другие спицы нужны. Можешь взять с моего старого велосипеда...

Ах, дорогой ты мой дракончик, как у тебя все прекрасно просто, ты ведь еще видишь цветные сны!..

В саду я долго улыбаюсь и извиняюсь за невысокое качество заячьих ушей, пытаюсь смягчить воспитательницу. Она строго спросила:

— А белые колготки и рубашку на утренник принесли?

— Я не знала, что будет утренник. Сережа сказал мне только что,—забледила я робко.

А воспитательница сказала:

— Ваш ребенок будет себя чувствовать ущемленным...—и ушла не прощаюсь.

Я повернулась к дракону и спросила:

— Ребенок, ты себя будешь чувствовать ущемленным?

— Нет, не буду,—засмеялся добрый надувной дракон.—Я тебя, Котенок, очень люблю...

Спасибо тебе, дракон, ты и сам не знаешь, как это для меня важно. Я шла по искалестенному бульвару и думала о том, что мне в последнее время как-то уж слишком остро стало не хватать человеческой любви. Не знаю почему, может быть, возраст сказываетс...

В гастрономе на углу давали свежие сосиски. Хорошо было бы взять кило, да куда их тащить сейчас—я ведь ушла из дома на сутки.

У входа в метро «Речной вокзал», как всегда в этот час, была толкотня, полно народа: час «пик», служилый люд мчался в центр города, и я стала у шестой колонны от начала платформы,—я знаю, что здесь останавливается концевой вагон, последняя дверь; вылетел из жерла туннеля с ревом и нутряным гулом поезд, завизжали слитно тормоза, пахнуло горелой резиной, и теплый машинный ветер мазнул плотно по лицу, толпа на платформе сжалась на миг и сразу же рванулась в распахнувшиеся двери, меня крутанул короткий людской бурун, втиснулся в вагон, и не стало ни воли, ни самостоятельности,—нес узким вагонным проходом распахающийся по свободным местам пассажирский

спрессованный поток, пока я не оказалась у незанятого места на диване: рывок влево, рукой успеть ухватиться за поручень, и я сижу.

Загромыхали колеса, засвистел над головой жирный воздух вечной туннельной ночи, всполохнулась трассирующая очередь желтых фонарей за окном, и на меня стала напльвать дремота.

— ...Следующая станция «Войковская»...—картонно сипел динамик.

А мне ехать далеко, до самого центра. 23 минуты. Можно вздрогнуть, и сон этот приятный, неглубокий, не выключающий из размышлений. Автореферат, химчистка, мясо забыла вынуть из морозилки, лекарство для матери, корректура, счета. Я тебя очень люблю, Котенок... Ай виш ю гуд лак... Ай вонит ю гуд лак...

Мне хочется быть счастливой. Мне хочется быть любимой...

Гудит, пощелкивает, ползет вверх эскалатор. На встречу течет поток: как много людей, какие разные лица! Какой-то человек, едущий вниз, помахал мне рукой, крикнул: «Рита!»—и сразу же унесся вниз, и лицо его постепенно стиралось и тонуло белой монеткой в омуте. И не вспомнила я его. Мы все слишком быстро проезжаем мимо друг друга. Вверх, вниз. В параллельных туннелях отчужденности, погруженностии в свои заботы и проблемы. Нет времени взглянуться, рассмотреть, узнать, запомнить навсегда...

Пешком дошла от метро до Петровских ворот, обогнула это огромное желтое здание, вошла в пристройку, и милиционер, посмотрев мой паспорт, сказал:

— Проходите, это на втором этаже, вас ждут...

Поднялась по лестнице и остановилась перед широкой стеклянной дверью с надписью «ОПЕРАТИВНЫЙ ЗАЛ».

«Я, Ушакова Маргарита Борисовна, дежурный судебно-медицинский эксперт по городу Москве, возраст 29 лет образование высшее, медицинское место работы Институт морфологии человека должность ст. научный сотрудник учен. степень кандидат медицинских наук стаж по спец 5,5 лет. На основании ст. ... УПК РСФСР предупрежден(а) об ответственности за дачу ложного заключения». Экспертное обязательство.

2. Григорий Иванович Севергин

Я стоял на лестничной клетке и покуривал, не торопясь, свою «Яву». Да и куда спешить? Подойдет черед—вызовут. Это у них здесь четко. И врач мой лечащий—шустрый такой паренек, весь из себя моднейший, с бороденкой чахлой—крикнул мне на бегу: «Григорий Иваныч, скоро ваша очередь».

Зачем ему борода? Для солидности, что ли? Да только какая солидность от такой бороды—перышество сплошное, а за волосья все эти сроду еще никому дополнительного уважения не оказывали.

А вообще-то врачишка он толковый. К сожалению. В данном, так сказать, случае. Мне-то лучше было бы, кабы он не так здорово смекал в своем деле. Как он меня все-таки быстро расколол! «Дышите! Глубже! Глубже! Здесь отдает? Болит, болит, я вижу, но надо терпеть! Вот здесь—по средней линии—загрудные боли часто бывают? Колет? Ноет? Жжет? Шум в ушах? Мушки перед глазами плавают? Сколько у вас фронтовых ранений—пять?..»

И растерялся я как-то. Сидел рядом с его столом, боком, на краешке стула, как нашкодивший школьник; а он, не оборачиваясь ко мне, бойко скрипел пером в толстой папке с гнусным называнием «История болезни». Эх, сынок, дорогой ты мой шустрый доктор, видно, уже давно живу я на земле, коли у моей болезни такая долгая и увесистая история. А у дружков моих, ровесников, что остались там, в очень далеких временах, на трех войнах, которые я оттоптал, не было вообще никаких историй болезни—не успели они поболеть.

Доктор встал, обощел стол, простерся надо мной на длинных ногах, попросил:

— Григорий Иваныч, встаньте по стойке смирино, закройте глаза, вытяните руки прямо перед собой...

И показал, как надо сделать. Пальцы у него были длинные, худые, сожженные йодом, и дрожали. Я усмехнулся и вытянул руки. У меня-то пальцы не дрожат!

— Так?

— Да, так. Закройте глаза. Прекрасно, в позе Ромберга устойчив.

Я знаю, что в этой самой позе проверяют координацию у пьяных. Но врач не опасался, что я пришел к нему на прием выпивши. Он хорошо знал, чего доискивается. Посадил меня и снова стал тщательно ощупывать старый шрам на голове.

— Трепанация черепа?

— Нет. Ранение было касательное.

— Угу. А тут не отдает?

— Нет, нигде не отдает...—Видно, прорвалась в моем голосе досада, потому что он вернулся за стол и мягко сказал:

— Григорий Иваныч, вы зря на меня сердитесь, это же мой долг...

— Долг? Доказать, что я ни к черту не годен?

— Мой долг—дать объективное квалифицированное заключение о состоянии вашего здоровья. А оно оставляет желать лучшего...

Я постарался пошутить:

— Один мой знакомый говорит, что если человек после пятидесяти просыпается и у него ничего не болит, значит, он уже умер.

Врач покачал головой и сказал:

— Вас все равно через комиссию не пропустят окулист...

— Пропустит,—сказал я твердо.—Окулист пропустит.

Он долго, пронзительно смотрел на меня, потом снова покачал головой:

— Хорошо, я вас представлю на комиссию. С обязательной перекомиссацией через полгода.

Невелик срок—полгода. Ну, и на том спасибо. Там еще посмотрим.

— Тринадцатого числа на комиссию. Вас устраивает?—спросил он.



— В какое время?
— В восемь утра.
— Устраивает. С десяти у меня дежурство.
Я, уже попрощавшись, открывал дверь, когда он сказал с быстрым смешком:
— Григорий Иваныч, а как же вы достали диоптрическую таблицу?
— Сумел, значит,— и помахал ему рукой.

А теперь я стоял на лестничной клетке, курил, смотрел в окно и дожидался, когда меня вызовет глазник читать по его таблице «Ш» и «Б». Из двух окон на улицу были видны Нарышкинские палаты и здание Управления за Петровскими воротами. Всего полкилометра оттуда сюда. Это если не перепутаю Ш-Б. Иначе не прийти мне обратно. Так что никак нельзя перепутывать эти трехъярусные Ш-Б.

Я давно знал, что придет вот это, сегодняшнее утро и я буду стоять на пустынной лестничной клетке, всматриваться в плохо различимое отсюда здание Петровки и готовиться к полуумраку кабинета глазника, где стоят на столе ящики со многими стеклами и быстрый, услужливый доктор будет ловко менять их в оправе у меня на носу, ласково приговаривая: «Плюс три вам маловато, давайте возьмем следующее», — и показывать невидимым мне кончиком указки на распльзывающиеся черточки букв диоптрической таблицы, где еле-еле мог я вычитать верхние жирные буквицы Ш-Б, а все остальное сливалось в штиховое рябенькое морево, точь-в-точь как пиджачная ткань букле.

А мне надо было оставаться на Петровке, потому что я уже старый человек и мне поздно менять привычки, навыки, друзей и склонности.

И я выучил всю эту таблицу наизусть. До четвертого ряда букв я еще мог в мучительном напряжении высмотреть направление указки. И все эти буквы на таблице я мог назвать, подними меня среди ночи.

ОМКНЕПШ ПВКИРИЧ
ШРПНБПВ

— Севергин, на кардиограмму! — закричали в коридоре, я бросил окурок и пошел, повторяя про себя на всякий случай — как детскую считалку, как заклятье, как обет вернуться: ОМКНЕПШ, ОМКНЕПШ...

Скрученный проводами, облепленный датчиками, лежал я на жестком медицинском диванчике и смотрел на еле слышно гудящий прибор, на прыгающие деловитое перо самописца и знал, что тонкая эта проволочка сильнее меня — ее не обхитришь, ее легкие прыжки на ленте не закажешь и не заучишь, как ОМКНЕПШ. Мой доктор улыбался подбадривающе, неожиданно погладил по плечу — руки у него были шершавые и теплые — и сказал нетромко:

— Держись, отец...

А я своего отца плохо помню. Каждую зиму он отправлялся в Енисейск растирать бревна на строительный тес. Когда мне исполнилось семь лет, он утонул в реке во время ледохода. Осталось нас у матери шестеро; напекла она мне узел шанег с черемухой, отправила в бесконечно далекую Москву к отцову брату — дядьке Емельяну, а попрощалась Мельяничу...

— Севергин, к фтизиатру!..

Спиromетрия, объем легких, дышите глубже, не дышите, раневой след — травматический пневмотрак...

У дядьки Мельянича было три георгиевских креста и не было обеих ног. Он сам сделал для себя протезы — похожие на печные горшки ступари, в которых помещались культи и полбедра, и когда он стоял на Сухаревке у своей палаточки, то походил на сказочного богатыря, наполовину закопченного в землю. Шесть дней в неделю Мельянич ставил набойки, союзки, пришивал подметки, тянул головки, «принимал» на рант, и через его заскорузлые ладони бесчетно катились ботинки, сапоги, тапочки, опорки, валенки, чувики, бурки, дамские туфельки и «азиатки». А в воскресенье он выпивал литр «Московской» и, раздувая мокрые толстые рыхкие усы, пел строевые кавалерийские песни, до хруста скжимал мое тощее плечо и заверял:

— Будешь у меня первый по Москве сапожник!..
ПВКИРИЧ

— Севергин, к хирургу!
— Раздевайтесь до пояса, так-с, так-с, о-очень хорошо, на что жалуетесь, Григорий Иваныч, у вас тут написано, что осколки не были резецированы из мышечных тканей, в плохую погоду не ноют? Да-а, Григорий Иваныч...

ШРПНБПВ

Ах, как я не люблю, когда незнакомые врачи называют меня по имени-отчеству! В этой вежливости, когда они величают меня, заглядывая в историю болезни, есть грозное предупреждение, обязательная синисходительность к слабому...

ОМКНЕПШ

Тридцать семь лет назад, когда я на призывной стоял перед столом медицинской комиссии, голый, кирпично-здоровенный и веселый, как вино, никто из врачей меня по имени-отчеству не называл, а все коротко кивали: годен, годен, годен! В лыжно-десантные части!

К тому времени я уже разочаровал Мельянича: не стал первым по Москве сапожником, а работал заготовщиком на новой обувной фабрике «Парижская коммуна».

Это мне было и веселей и интересней и позволяло на рабфаке учиться.

В лыжно-десантные части! И на финскую войну!..

ПВКИРИЧ

— Севергин, к окулисту!..
ОМКНЕПШ
ПВКИРИЧ
ШРПНБПВ

— Садитесь, Григорий Иваныч, вот сюда, следите глазами за пинцетом, так-так, все правильно, поднимите голову, сейчас посмотрим глазное донышко, так-так, чуть левее, так, теперь наденьте эти очки — смотрите на таблицу, хорошо различаете верхний ряд?

— Да.
— Какая это буковка?
— Ш.
— Эта?
— Н.
— Эта?
— И.
— Неправильно, это К. Где прорезан кружок?
— Вверху.
— А этот?
— Справа.

Господи, ОМКНЕПШ!!!

— Конечно, Григорий Иваныч, с глазками у вас не бог весть как прекрасно. Вы на отдых еще не собираетесь?

— Начальство не пускает. Говорят: возраст пока детский. Всего пятьдесят пять.

Глазник подошел вплотную, и вынырнуло прямо перед мной, как из дымного, сумрачного марева, его лицо.

— Со мной говорил ваш лечащий врач. Я подпишу вам перекомиссовку на полгода.

Я молчал. Глазник писал что-то в истории болезни, потом захлопнул с треском папку:

— Все. Вам обязательно нужны бифокальные очки.

Вышел я на лестничную клетку, закурил и только тут почувствовал, что вся форменка под мундиром мокрая. Н-да, история.

Спустился в гардероб, надел шинель и медленно направился по улице. С Колбовского переулка вошел во двор, пересек плац и все еще был как спросонья от дурного ночного видения. Протопал на второй этаж и вошел в оперативный зал.

ШРПНБПВ!..

Дата прохождения ВВЭК...

ноября 197...год

СЕВЕРГИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

пол муж.

возраст 55 лет.

место работы Главное управление

внутренних дел исполнкома Московского

должность ответственный

дежурный по городу.

звание подполковник милиции.

КАБИНЕТЫ

хирург откл. от нормы в предел. допустим

кардиогр норма

фтизиатр норма

уролог норма

отоларинголог норма

анализы крови, мочи,

рентген в пред. нормы

окулист прогрессир. глаукома,

ограниченно годен

терапевт ограниченно годен

к несению службы по указ. должности.

Срок сл. переосвидетельствования

6 месяцев.

Подпись.....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВОЕННО-ВРАЧЕБНОЙ

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ — ВВЭК.

3. Станислав Тихонов

— Просытайся, Стас! Вставай, вставай! Я ухожу, и ты проспиши на работу!

Меня будит не голос ее, а чечеточный перестук каблуков — из ванной в кухню, из кухни в переднюю. Голос у Кати хорошо модулированный, про-

фессионально поставленный, убаюкивающий. Она не может кричать. Свои эмоции она выражает дикторской акцентированной, паузами, нажимами в конце фраз. Когда она дает команду — вставай! — мне слышится: «...накал стачечной борьбы в Японии достиг...»

— Вставай, Стас! В холодильнике пакет молока, на столе голубцы. Ужа-а-асно вкусные!

Я высываю голову из-под одеяла:

— А погода?

— О-очень плохая!

В мире нет полутонов. Все или ужа-а-асно вкусно или о-очень плохо.

— Разве голубцы бывают вкусными?

— Ужа-а-асно! Ты открыл банку, это болгарские голубцы, нагрет на плите, выложи в тарелку и разомни вилкой — замечательно получается!

Все действительно замечательно. Хорошо, что по утрам у меня нет аппетита и я никогда не завтракаю.

Катя уже в плаще, подходит ко мне, садится на край стула рядом с моей кроватью.

— Ты мной недоволен? — спрашивает она, и лицо у нее несчастное.

— Нет, нет, о-очень доволен! — испуганно говорю я. Не хватало еще семейной сцены в семь утра.

— Я плохая хозяйка, но я тебя люблю!

И я тебя люблю, Катя, но когда ты говоришь это, мне слышится скатывающиеся с твоих розовых полных губ слова: «...трудовыми подарками труженики полей Ставрополья встретили...» Найди я в себе силы сказать: я люблю тебя, Катя, давай заживем по-людски, — и, может быть, все устроилось, но я панически боюсь, что мой ответ прозвучит как «встречный план предложили железнодорожники», и так получится у нас не серьезный разговор двух любящих и не очень счастливых людей, а радиоперекличка. Поэтому, и говорю торопливо:

— Катя, все ужа-а-асно хорошо!

Мы помолчали немного, и я видел, что она бы не прочно спросить меня об очень многом, но уже время вовсю поджимает. Катя спросила только:

— Ну, что тебе нужно, Стас?

Глупо вести с женой, когда она уже стоит в плаще, такой разговор: он не имеет перспективы, как деревце, растущее в щели каменной кладки. Не набрав силы, он оборвется на какой-то нелепости, когда выяснится, что Катя уже на пять минут опоздала. И все-таки я сказал:

— Мне нужно сына. И дочь. И дом...

Катя горько вздохнула:

— Это правильно, конечно. И все-таки вы, мужчины, ужасные эгоисты...

С такой же интонацией Катя произносит: «...крупные монополии ФРГ и Франции ожесточенно отстаивают свои прибыли...»

— Ведь ты же знаешь, Стас, сейчас решается вопрос, примут ли меня в труппу на Таганке. Кому же я нужна буду в театре с животом? Что мне могут поручить?..

Действительно, кому нужна в театре лирическая героиня с животом? Как это я раньше не подумал? Мы, мужчины, все-таки ужасные эгоисты.

— Я же никогда не бываю к тебе в претензии, Стас, когда ты сутками пропадаешь или являешься за полночь, а то и с приятелями! Я понимаю — у тебя работа такая! Но ведь и ты должен понять меня!

— Уже понял. Ты опоздаешь.

— Ты не сердишься?

— Нет, совсем наоборот.

Катя быстро наклонилась, поцеловала меня и прошлась каблуками к двери. Движения у нее быстрые, резкие, удивительно не соответствующие ее бархатному, покойному голосу, в котором от долгой тренировки почти невозможно услышать гнев, слезы, страх или страсть.

Как всякий мужчина-эгоист, я не могу в полной мере проникнуться перспективой Кати стать видной драматической актрисой. Катя говорит, что у меня это происходит от недостаточной широты кругозора. И я с ней полностью согласен. Ну, и еще я не верю, что у нее есть для этого данные. В ней масса человеческих добродетелей, кроме лицедейского таланта.

Штука в том, что я мужчина-эгоист с недостаточно широким кругозором, бесконечно далекий от театра, по словам Кати, не представляющий себе ни сценических традиций, ни канонов, ни устоев подмостков, ничего не соображающий во взрывных и открытых артистических характерах, — я занят очень своеобразной работой. Не проходит дня, чтобы мне не приходилось встречаться с людьми, которые актерствуют из всех сил. Они не знают системы Станиславского и не слышали про школу Брехта, они не учились в театральных училищах, и не доводилось им выходить на авансцену под восторженные вопли «браво!», «бис!». И, актерствуя передо мной, они стараются не ради аплодис-

ментов и ликования почитательниц, не ради званий и премий.

Они хлопочут о своей свободе. И называются эти люди преступники. Они сами себе драматурги, режиссеры и актеры в том горестном и постыдном спектакле, на который они лучше всего не приглашали бы ни одного зрителя.

Но однажды явлюсь я и заставлю проиграть для меня лично весь фарс, драму или трагедию, рожденную ими в человеческих страданиях; и тогда я становлюсь для них публикой, рецензентом, репертуаром и приемной комиссией одновременно.

И как бы они ни были способны к перевоплощению — а они всегда стремятся влезть в чужую шкуру, одни бездарно, а другие просто талантливо, — все они стараются исключительно истово, поскольку твердо верят, что, обманув меня своим перевоплощением, они вернут себе свободу.

Тысячи спектаклей я посмотрел. И думаю, что оценить актерское дарование могу.

Полгода назад видный режиссер пригласил Катю «показаться». Она при мне договаривалась с ним по телефону. Почему-то встречу назначили в ЦДРИ. Как я не хотел, чтобы она шла на эту муку. А она хотела. Она ведь готовилась к радости.

Я бросил все дела и приехал к трем часам в ЦДРИ, чтобы дождаться ее после экзамена. В старом здании было пусто и тихо. На втором этаже из-за двери я услышал приглушенный Катин голос, бархатный, покойный, срезанный по амплитуде страсти. Дверь была чуть приоткрыта, я заглянул в щель. Катя читала что-то, по-моему, из «Марии Стоарт», резко, как-то нервно двигалась, а интонации в монологе звучали, будто подложенные фонограммой «Вести с полей».

А режиссер сидел в кресле, маленький, усталый, желто-серый, точно упавший в пыль мандарин. У него был досселяющий, страдальческий вид, и он все время быстро, сипко покашливал и потирал желтыми пальцами запавшие виски, словно старался вспомнить что-то очень важное, и никак эта потерянная мыслишка не давала ему покоя.

Эта потерявшая им мысль явно не давала покоя и Кате, потому что она двигалась и говорила все хуже и хуже, и режиссер становился все озабоченней, и что-то он ей потом долго-долго говорил, снисходительно и успокаивающе. И когда я вел Катю по лестнице, почти ослепшую от слез, всю такую крепкую, румяную от досады и бешеного тока крови, повторяющую все время горько: «О-очень, о-очень плохой!» — я не мог ей объяснить, что режиссер никакой не «очень плохой», а скорее даже он ужасно хороший и уж, во всяком случае, очень несчастный, талантливый человек, который все помнил, а во время Катиного показа одно позабыл — как называется его желто-серая болезнь, и Катя не могла этого сообразить, а я видел, я знал — рак, и Катину горе, которое он ей причинил своим отказом, было такой пушинкой и ерундой по сравнению с тем, что обрушилось на этого человека, что я не смог выразить ей как следует своего сочувствия, а она решила, что я злорадствую...

Я вылез из постели, нехотя сделал несколько гимнастических движений, потом машинально рукой на физкультуру: за сегодняшнее дежурство мне предоставлена будет возможность подвигаться до седьмого пота. Выпил холодного молока и поехал на Петровку.

«Тихонов Станислав Павлович,	
возраст	30 лет
Место работы.....	Управление Московского
уголовного розыска Главного управления внутренних дел Москвы	
должность	старший инспектор
отдела УМУР ГУВД	
звание	капитан милиции
стаж в органах внутренних дел	7 лет
2 месяца 3 дня	
поощрения и награды	почетный знак
«Отличник милиции»,	
ценные подарки, благодарности	
взыскания	не имеет
...За время работы в отделе проявил себя	
дисциплинированным и вдумчивым сотрудником,	
к порученному делу относится добросовестно.	
Честен, лично храбр, хотя иногда медлил.	
Излишне прямолинеен по отношению к	
обвиняемым, но этот недостаток изживает.	
Общественные нагрузки исполняет ответственно.	
За раскрытие ряда преступлений поощрялся руководством министерства и Главного управления.	
Звание «капитан милиции» носит 4 года 2 месяца...	
...заслуживает представления к очередному	
специальному званию «майор милиции».	
ЧЛЕНЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ»	

Из аттестации.

4. Рита Ушакова

Я нажала ручку высокой стеклянной двери с табличкой «Оперативный зал», дверь мягко подалась. Обширное помещение с окнами во всю стену, точь-в-точь кабинет управления крупной электростанцией, который я видела недавно в кинохронике: красивые, ярко окрашенные пульты с мириадами кнопок, лампочек и выключателей, трубы, микрофоны, экраны. За пультами и около них — в милиционной форме. Я поискала глазами — около письменного стола стоял высокий милиционер с двумя большими звездами на погонах, видимо, главный. Я шагнула к нему:

— Здравствуйте. Я новый судмедэксперт... — и протянула направление.

Подполковник приветливо улыбнулся всем своим гладким, свежим красивым лицом, кивнул на центральный пульт:

— Я уже меняюсь. Вот начальник сегодняшней смены... И громко позвал: — Григорий Иваныч, принимай пополнение...

Григорий Иваныч оторвался от тетрадки, внимательно посмотрел на меня, встал, подошел, представился:

— Подполковник Севергин Григорий Иванович. Прошу любить и жаловать... — Взял у меня направление, прочитал его и добавил протяжно: — Маргарита Борисовна... Вы впервые?

— Меня попросили заменить на время отпуска Воздвиженку, — кивнула я.

— Ну, что ж, дело хорошее... — Севергин доброжелательно посмотрел на меня сквозь сильные очки в тонкой золотой оправе. — Дело хорошее. Познакомим вас... работа обыкновенная. Раньше в милиции не приходилось?..

— Не-ет, не приходилось... — Я почему-то смущенно помотала головой и подумала, что единственный раз имела дело с милицией в качестве автолюбителя-нарушителя. На нашем стареньком «Запорожце» я ухитрилась въехать на улицу с односторонним движением, прозевав знак, и меня тут же остановил орудовец. «Слушайте, да вы ездите совсем не умеете!» — сказал орудовец. «У меня права!» — возразила я, передавая ему новенькие корочки. Не раскрывая их, лейтенант бросил взгляд на елку, лежавшую на заднем сиденье, ухмыльнулся: «Вам, небось, их Дед Мороз принес! Разворачивайтесь быстренько да на знаки вперед смотрите!» А теперь мне предстояло целый месяц самой работать в милиции, и, попадись тот орудовец, могла бы предъявить ему удостоверение эксперта при дежурной части Главного управления внутренних дел, да «Запорожца» больше не было — уходя из дома, мой бывший супруг сказал, что на имущество не претендует, но ездить ему на работу далеко и сложно, и он хотел бы... Ездить в подмосковный санаторий, куда он устроился врачом-терапевтом, было действительно сложно, тем наш раздел имущества и завершился.

— Вы оглядитесь пока минуточку-другую, — сказал Григорий Иванович. — Я тут разберусь с хозяйством и покажу вам, где у нас что...

Он вернулся за пульт своей тетрадке, а я стала оглядываться. Посмотреть тут, прямиком скажем, было на что. Против окон почти всю стену занимала огромная светящаяся карта Москвы. То тут, то там вспыхивали на ней красные лампочки с цифрами: «37», «8», «119». Я сообразила, что это номера отделений милиции. На другой стене рядами висели телевизионные экраны, на одном из них был виден движущийся людской поток, автомобили. И хотя дома я включаю телевизор очень редко, здесь заинтересовалась, что там такое показывают спортивную. Подошла поближе и, взглянувшись, узнала площадь Маяковского. Объектив медленно поворачивался от Концертного зала Чайковского, показывал стремительную лавину автомобилей, уносящихся с Садовой в туннель, потом появились очертания гостиницы «Пекин», кинотеатра... Меня в первый момент озадачило, что вся эта кинохроника идет без комментария диктора, но тут к пульту подошел коренастый капитан, нажал какую-то рукоятку, и на соседнем экране возник Белорусский вокзал, и снова — машины, машины, люди... Капитан деловито черкнул что-то в записной книжке и выключил телевизор: только тогда до меня дошло, что кинохроника здесь — ни при чем, это прямой показ с улицы, нужный, наверное, зачем-то дежурной части. Посмотрев еще немного телевизор, я подошла к стеклопашечному в углу телетайпу, который неторопливо перекидал бесконечную бумагистую ленту. «...с места происшествия скрылся...» — прочитала я очередную строчку, и, словно рассердившись на меня, аппарат глухо бормотнул что-то и, не останавливаясь, начал печатать с абзаца: «Сегодня, 13 сентября, в Центральном клубе милиции совещание организаторов художественной самодеятельности. Начало в 17 часов...»

Мне захотелось курить. Я достала из сумочки

сигареты, но спички, как всегда, забыла, и теперь неудобно было отрывать занятых людей от дела, тем более что никто из них и не курил. Только Григорий Иванович сосредоточенно посыпал сигаретку за своим пультом. Ну, ладно, потерплю, тем более что зал понемногу заполняется новыми людьми, видимо, это моя смена. Вот один из них, высокий, тощий, подошел к тому капитану, коренастому, который включил телевизор, что-то негромко сказал ему и хлопнул по плечу. Коренастый оглянулся на световое табло — каждую минуту на нем вспыхивали ярким оранжевым светом цифры: 09-36, 09-37, 09-38 — и засмеялся:

— Начальник, как известно, приходит на работу вовремя как раз в тот день, когда ты опаздываешь!..

Высокий тоже обернулся, посмотрел на часы и сказал сердито:

— Позавидуешь, твой-то всегда приходит вовремя! — и неожиданно захочотал, обнажив крепкие длинные зубы.

Широко распахнул двери, быстрым, решительным шагом пересек зал молодой парень в кожаном реглане, и нагнулся к Севергину, и что-то заговорщики зашептали на ухо ему, кивая все время в сторону дверей. Величественно проследовал седой осанистый мужчина в пиджаке, молча поздоровался с дежурными, вежливо кивнул мне. Тихо гудели за пультами зуммеры, и со всех сторон раздавались вспыхнувшие ответы: «Помдежурного по городу Батов слушает...», «Помдежурного по городу Угрюмов передает...», «Тридцать девятое, свяжитесь с диспетчером Мосэнерго...»

— Что у вас, сто девятое? — громко спросил коренастый капитан. — Сто девятое, помдежурного по городу Батов, что у вас, и торопливо заскрипел пером в журнале. Положил трубку, подошел к письменному столу: — Товарищ подполковник, на улице Зорге, во дворе дома двенадцать, упавшим деревом придавило женщину...

Красивый офицер недовольно сморщился, бросил взгляд на часовое табло: 09-44 — приказал:

— Опергруппу на выезд.

Вот оно, значит, как происходит. Я ведь нахожусь здесь как бы в составе опергруппы и выезжаю с ней вместе. Вот и первый выезд.

— Нет, доктор, не специите, — сказал красивый офицер. — Это еще наша смена. Вы свое через шестьнадцать минут возьмете...

А капитан тем временем говорил в микрофон негромко:

— Водитель Петренко, следователь Сазонов, уголовник Тищенко, медицина и криминалист очередные. Дорохов, твоя очередь? Давай быстренько к машине... Мало ли что собирался...

Севергин подошел ко мне и сказал:

— Капитанство наше я вам покажу чуточку позже, как минута выдастся, а то сейчас город принимать пора. Воин там у нас зал «02» — первые помощники наши, здесь, за дверью, — радиоцентр и телетайпный зал. Ваше помещение на первом этаже, там и стол и коечка есть, отдохнуть в перерыве... — По лицу Севергина я безошибочно видела, что понравилась ему, и мне это почему-то было особенно приятно, наверное, оттого, что этот пожилой человек много всякого в жизни повидал, и если нового знакомого одобряет, значит, видит в нем нечто симпатичное. — Вы пока познакомьтесь с народом. Это майор Микито, мой боевой зам... — Толстый статный майор с нисьмыми запорожскими усами с достоинством кивнул мне, и мы подошли к тому тощему, зубастому, который шутил с приятелем насчет начальства, приходящего на работу не во время. Зубастый щелкнул каблуками, по-военному представился: «Помдежурного капитан Дубровский», был он вроде серьеzen, но в глазах прыгали веселые неугомонные искры.

— Наш водитель, Алик Задира, ас — первый класс... — показал Севергин на парня в кожанке, и тот приветливо мне улыбнулся. — А это наша криминалистика. Эксперт научно-технического отдела Ной Маркович Халецкий, будьте знакомы.

Я протянула руку седому мужчине в пиджаке, он вежливо пожал ее. Севергин, глядя через мою голову, сказал в это время:

— А вот и сыщик наш пожаловал. Мог бы, Стас, и поторопиться, у нас доктор новый...

И оглянулась — в дверях стоял Стас Тихонов. Я его сразу узнала.

— ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕМЕДЛЕННОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ НА СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА: ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ.

Из инструкции.

Продолжение следует.

Начало на 20-й стр.

ЗУБЧЕЙ ПОСУДЫ

высокие, есть подставки-треножки. Но с непривычки труднее. А здесь все они сидят очень низко за длинным столом. Все одеты пестро — косынки, ситцевые сарафаны, а вокруг самая разная посуда со всевозможными узорами. Каких только цветов, каких только ягод нет, рыбок, бабочек — глаза разбегаются.

— А зайца написать?

— Зайца нельзя.

— А лицо, портрет?

— Тоже нельзя.

Здесь свято соблюдаются традиции.

Сажусь рядом, смотрю. Уже могу различать три вида росписи. Вот рисунок «под фон» — пустоты заштрихованы черной или красной краской. А вот «травка» — то же самое, только без фона. Фон тут — сама алюминиевая поверхность. Есть еще «кудряна» — пышный, витиеватый рисунок, похожий на кудри молодца.

Больше всего поражает то, что рисуют сразу, без предварительного наброска, прямо по гладкой серебристой поверхности. Сначала наносится основная волнистая линия — так называемый «криуль». Потом от него в разные стороны начинают расти другие завитки, оканчивающиеся цветами, ягодами, появляются завихрения листочков, внутри которых «разживка» — тонкие прожилки. Тонюсенькая белимья кисточка словно сама выписывает сложный, затейливый узор.

Около шестисот мастеров работает в объединении. Часть из них самоучки, но большинство окончили Семеновское профтехучилище, где преподаватели — художники из объединения. И опять непонятно: как же так? Значит, можно просто пойти в профтехучилище, и там тебя за два с половиной года научат создавать это чудо? Неужели любой может научиться?

— Нет, любому научиться нельзя, — говорит Нина Петровна Сальникова. — Через три-четыре месяца становится ясно, будет писать человек или нет.

Нина Галинкина. После восемь лет работы в колхозе, в мебельном цехе подсобных промыслов. Потом поступила на трехмесячные курсы при объединении.

— Дали мне стеклышко, кисточку. Сначала писала на стекле травку. Шура Камисина меня учила, поправляла, если что не так.

Сейчас у нее четвертый разряд. Как из неумелой ученицы она превратилась в художницу, в народного умельца? В чем тут секрет?

Сижу с ней рядом, смотрю, как она расписывает стол.

— А почему ты вот здесь каждый раз кисточку нажимаешь?

Пожала плечами:

— Просто лучше.

— А нельзя вот здесь, в углу, цветочек нарисовать?

— Почему нельзя? Наоборот, нам художницы из экспериментальной лаборатории говорят: фантазируйте больше, не повторяйте, не копируйте.

— Так нарисуй.

Она разглядывает стол.

— Нет, тут уже ничего не надо добавлять. Лучше другой стол взять.

Она кладет перед собой чистую доску стола — се-

ребряное зеркало. И в самом центре его начинает расти цветок с шестью изогнутыми лепестками, а в сердцевине цветка — еще один, маленький, с четырьмя пестиками. Потом по лепесткам побежали тоненькие стрелочки, и точками обозначилась морская звезда. Таких цветов я никогда не видывал.

В лакировальном цехе долго смотрел, как «серебро» превращается в «золото». Лакировальщица — никакой не алхимик, обыкновенная девушка в брюках и клетчатой рубашке, но вот она направляет на изделие распыленную струю лака из пульверизатора — и серебристый порошок алюминия меняет цвет. Потом, в печи, произойдет окончательная закалка посуды, и выйдет она оттуда уже совсем золотой.

...Обыкновенная фабрика, правда, очень тихая. Обыкновенные девушки, правда, рисующие необыкновенные цветы.

Почему же тогда в Париже знаменитые художники, сидевшие на маленькой скамеечке рядом с Натальей Александровной Денисовой-Чикаловой, старались повторить ее вроде нехитрый узор и не могли? А ведь умели кисть держать!

Может быть, гены? Но ведь в Семеновском объединении работают люди, приехавшие из Сибири, с Украины и Дальнего Востока.

Так в чем же секрет? Может быть, в этой тишине? Или в осенних семеновских лесах, тихо роняющих золото листвьев? Или в этом требовании, противоречащем правилам «обыкновенного производства»: отступать от стандартов?

Не гении собрались под крышами семеновских цехов. Но традиции народного искусства, бережно хранимые здесь, поднимают мастеров к самым вершинам художественности, дают дорогу той творческой стихии, которая дремлет в душе почти каждого русского.

ШАХМАТЬ ШАХМАТЬ

Под редакцией заслуженного тренера РСФСР
Виктора ЛЮБЛИНСКОГО

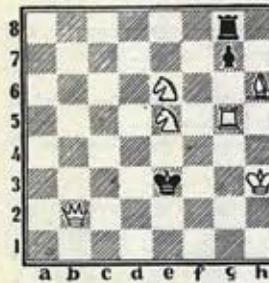
ШАХМАТЬ ШАХМАТЬ



Продолжаем публикацию заданий нашей юбилейной шахматной олимпиады, которую «Смена» открыла в № 21 за 1977 год.

ВТОРОЙ ТУР

I



Белые начинают и дают мат в два хода. (4 балла).



Какая комбинация ведет черных к победе? (4 балла).

III

Кто одержал верх на X всесоюзном первенстве в 1937 году в Тбилиси? (1 балл),

IV

Когда и где состоялся матч-турнир на титул абсолютного чемпиона СССР по шахматам? Назовите победителя. (1 балл).

Ответы на второй тур обязательно посыпайте на обычные почтовые карточки (без конвертов). На лицевой стороне открытки вы пишете: вверху слева — 20-я шахматная олимпиада, 2-й тур; в середине — точный адрес нашей редакции (101457, Москва, ГСП, А-15, Бумажный проезд, 14, журнал «Смена»); внизу — свой адрес, фамилию, инициалы. На обороте открытки: вверху справа разборчиво проставляете свой «олимпиадный регистрационный номер (о нем мы уведомим вас в течение января или февраля), а затем приводите решения, используя сокращенную шахматную нотацию. На викторину отвечайте предельно лаконично, лишь по существу вопросов.

В случае если кому-либо не хватит места, то разрешается послать вторую открытку, но при этом следует под олимпиадным номером указать: продолжение.

Запомните, пожалуйста, сроки отправления писем на второй тур — с 1 по 10 марта 1977 года.

Учитывая пожелание новых подписчиков «Смены», напоминаем задание первого тура этой олимпиады: 1. Белые — Kpf8, Fd3, Lg4, Kc2, Kd7; черные — Креб, Lc1, Ce1, pp. b4, c6, c7, h7; мат в два хода (4 балла). 2. Белые — Kpg2, Fd3, Lc1, Ld1, Cg1, Kc2, pp. a2, b2, c4, d4, e2, g3, h4; черные — Kpg8, Fgb6, Lf7, Lf8, Ce7, Ke4, pp. a7, b6, c7, d6, e5, g4, h6; какой комбинацией черные выигрывают? (4 балла). 3. Когда и где состоялся первый шахматный чемпионат Советской страны? Как он именовался? (1 балл). 4. Назовите имена первых двух победителей этого турнира (1 балл).

В связи с этим письма на первый тур (в конверты не забудьте вложить также открытку, чтобы мы могли оперативно сообщить вам регистрационный номер) разрешается посыпать в редакцию до 25 января с. г. Жюри просит на одной открытке не сошмещать ответы на два или несколько туров.

ВЫШЕ 11 ГРОССМЕЙСТЕРОВ

Много раз и, за единственным исключением, победоносно выступал в уходящем году Анатолий Карпов. Особенно большое впечатление произвела игра чемпиона мира на осеннем международном турнире в голландском городе Тилбург. Выступали там только гроссмейстеры, но Карпов провел трудное состязание без единого поражения и, набрав 8 очков из 11 возможных, завоевал первый приз. Вот два фрагмента из тибургских баталий.

На этой диаграмме отображена ситуация, возникшая после 22-го хода белых в поединке Карпова с крупнейшим западногерманским шахматистом Робертом Хиблером. Чемпион мира, игравший черными, находит весьма эффективный

К такому положению пришла после 11-го хода черных партия между Карповым (у него были белые) и вторым призером этого турнира — молодым английским гроссмейстером Энтони Майлзом



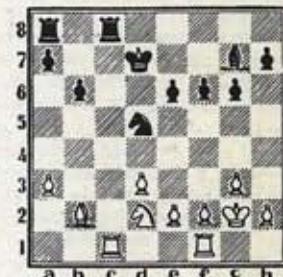
Белые активизируют коня и успешно развивают инициативу. Не желая уйти в глухую защиту, черные пытаются пешечным прорывом в центре, связанным с отдачей ладьи, добиться контригры. Однако подобная авантюрная манера действий в борьбе с чемпионом мира обречена на неудачу.

12. Kb3-d4! Fc6-a6 13. Kd4-b5 d7-d5??! 14. Kb5-c7 Fd6-d5 15. Kc7:a8 d5:e4 16. f3:e4 Kf6:e4 17. La1-d1 Fd6-c6 18. Cf1-g2 Ke5:c6 19. Ce3-d4 Cb4:c3 20. b2:c3 17-f5.

В итоге белые четко отражают скоропалитевые наскоки противника и остаются с подавляющим материальным перевесом.

21. 0-0 Kc4-d2 22. Ka8-b6 e6-e5 23. Kb6:c8 Lf8:c8 24. Cd4:e5 Fc6-c5+ 25. Ce5-d4, и черные сдались.

На этой диаграмме отображена ситуация, возникшая после 22-го хода белых в поединке Карпова с крупнейшим западногерманским шахматистом Робертом Хиблером. Чемпион мира, игравший черными, находит весьма эффективный



путь к тому, чтобы в равной с виду позиции склонить чащу весов на свою сторону.

22. ... Cg7-h6! 23. e2-e3 Ch6:e3! 24. f2:e3 Kd5:e3+ 25. Kpg2-f3 Ke3:f1 26. Kd2:f1 Lc8:c1 27. b2:c1 La8-c8 28. Cc1-b2.

Нападая на пешку «f6», белые полагали в варианте 28. ... e5-d9. Ke3! предотвратить вторжение неприятельской ладьи. Но черные не трогают драгоценного темпа и немедля проникают в лагерь соперника.

28. ... Lc8-c2! 29. Cb2:f6 Lc2-a2 30. Kpf3-e3 La2:a3 31. Kf1-d2 b6-b5 32. Kd2-e4 b5-b4 33. Kre3-d4 a7-a5 34. Kpd4-c4 La3-a2 35. h2-h4 Kpd7-c6 36. Cf6-d4 La2-e2 37. Cd4-e5 Le2-e1 38. Ce5-f6 Le1-b1!

Получительно проследить, как изобретательно Карпов доказывает, что в данном положении ладья и дует проходных пешек одерживает верх над двумя легкими фигурами Хиблера.

39. Cf6-e7 e6-e5 40. g3-g4 Lb1-c1+ 41. Kpc4-b3 Kpc6-d5 42. Ce7-g5 Lc1-b1+ 43. Kpb3-c2 Lb1-h1 44. Kpc2-b3 Lh1-h3 45. Ke4-f6+ Kpd5-d4 46. Kf6:h7 Lh3:d3+ 47. Kpb3-c2 a5-a4 48. Cg5-e7 Ld3-c3+ 49. Kpc2-b1 Lc3-c7, и белые «сложили» оружие.



ЗВЕЗДНАЯ ПЕСНЯ НЕБА

Слова Владимира ФИРСОВА.
Музыка Давида ТУХМАНОВА.

Во поле выйдешь — песню поешь,
Очень негромкую...
Звезды ночами падают в рожь,
Утром дрожат жаворонками.
Чистое поле, небо и рожь,
И кажется, нету края
Дороге, которой ты идешь,
Которую не выбирают.

Припев:
Сколько звезд упало,
Сколько взошло.
Стало под небом песенно,

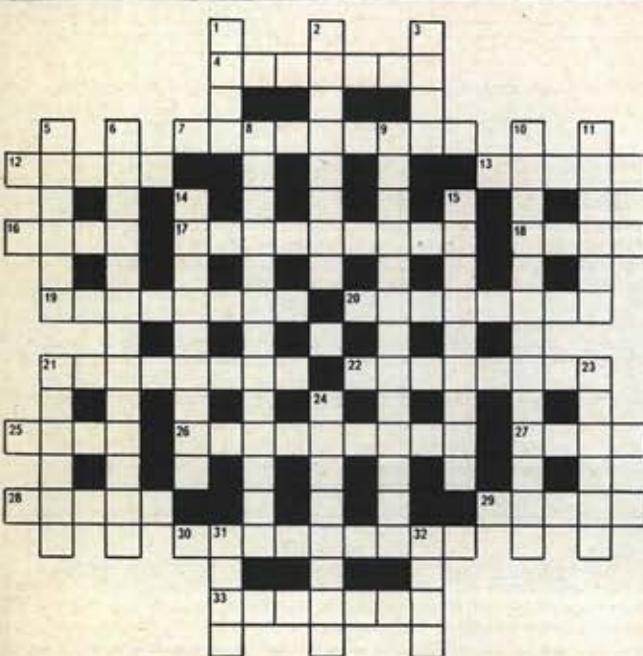
И на душе не случайно светло
И не случайно весело!

Словно наследство, она твоя,
Тебе ее в детстве дали,
В какие бы ты ни заехал края,
Забудешь ее едва ли.
Этой дороге нельзя изменить —
Как соли, воде и хлебу,
Она тебя будет вечно манить
Звездной песней неба.

Припев.

КРОССВОРД

Составил Б. ФЕОФАНОВ,
Москва



По горизонтали:

4. Выборный представитель.
7. Комедия Р. Шеридана.
12. Ударный музикальный инструмент.
13. Часть судна между водонепроницаемыми перегородками.
16. Город в Белоруссии.
17. Северное созвездие.
18. Декоративное и медоносное дерево.
19. Единица расстояния.
20. Дикое парнокопытное животное.
21. Советская балерина.
22. Углеводород, применяемый в синтезе веществ и для сварки.
25. Приток Енисея.
26. Актриса МХАТа, Герой Социалистического Труда.
27. Роман Л. Леонова.
28. Персонаж трилогии «Хождение по мукам» А. Толстого.
29. Плод пальмы.
30. Промысловая рыба, обитающая в бассейне Амура.
33. Полевой цветок.

По вертикали:

1. Спортивный снаряд.
2. Прибор для отсчета времени на слух.
3. Нити, идущие пополечки ткани.
5. Жилое помещение для команды на морском судне.
6. Наука о структуре ковких веществ и их сплавов.
8. Спектакль, театрализованное зрелище.
9. Пролетарский гимн.
10. Полимерный материал.
11. Стихотворение С. А. Есенина.
14. Музыкант.
15. Стихотворение Н. А. Некрасова.
21. Советский тяжелоатлет, неоднократный чемпион мира.
23. Пушной зверек.
24. Прибор для автоматической записи изменения атмосферного давления.
31. Симфоническая фантазия А. К. Глазунова.
32. Крупный морской рак.

ОТВЕТЫ
НА КРОССВОРД,
НАПЕЧАТАННЫЙ
В № 24

По горизонтали:

3. «Берег».
6. Казахстан.
9. Синхронизатор.
12. Гобоист.
15. Квартал.
17. Риека.
19. Юмористка.
20. Приставка.
21. Менье.
22. Простаков.
23. «Лесозавод».
24. Автол.
25. Полоний.
27. Алиада.
31. Аккомпанемент.
32. «Коновалов», 33. Билет.

По вертикали:

1. Левашов.
2. Ленский.
4. «Каллас».
5. Караваев.
7. Киноустановка.
8. Корреспондент.
10. «Подросток».
11. Караганда.
13. Трамвай.
14. «Беднота».
15. Капелла.
16. Гмыря.
18. Октод.
26. Изотоп.
28. Ломбок.
29. «Ипполит».
30. Антарес.



Рисунки Сергея ТЮНИНА

